

Наследство

Автор:

Вигдис Йорт

Наследство

Вигдис Йорт

Global Books. Книги без границ

Спустя два десятка лет из-за смерти отца Бергльот возвращается в лоно семьи.

Три сестры и брат собираются за одним столом из-за спора за наследство, которое, как они считают, поделено совершенно несправедливо. Однако конфликт куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Почему старшие дети получили гораздо меньше, чем младшие? Чем Бергльот и ее брат провинились перед семьей?

Многогранный, оставляющий горькое послевкусие роман Вигдис Йорт завораживает своей непередаваемой скандинавской атмосферой и беспощадным, почти шокирующим сюжетом.

Вигдис Йорт

Наследство

Vigdis Hjorth

ARV OG MILJ?

Copyright © CAPPELEN DAMM AS 2016

This translation has been published with the financial support of NORLA,

Norwegian Literature Abroad.

© Наумова А., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

* * *

Сделай то, что должен, так, словно хочешь этого.

Славой Жижек

Мой отец умер пять месяцев назад. Считать, что он ушел в удобный момент или в неудобный, – это зависит от того, чьими глазами посмотреть. По мне, так он не имел ничего против того, чтобы уйти вот так внезапно и именно тогда. Узнав о его смерти, я даже подумала, что он сам все устроил, – правда, мне так казалось, пока я не услышала подробностей. Для случайности все выглядело чересчур картинно.

За несколько недель до смерти отца мои родные яростно спорили, а предметом их споров было наследство – у них все никак не получалось поделить принадлежавшие нашей семье летние домики на острове Валэр. И всего за два дня до того, как отца не стало, я тоже ввязалась в этот спор, приняв сторону старшего брата и выступив против двух моих младших сестер.

Об этой ссоре я узнала самым удивительным образом. Я с нетерпением ждала того субботнего утра, потому что дел у меня никаких не планировалось – разве что подготовить материалы для семинара о современной драме, который должен был состояться тем же вечером в Фредрикстаде. И тут мне позвонила

Астрид, моя сестра. Ноябрьское утро было чудесным и ясным, в окна светило солнце, и можно было бы подумать, что на дворе весна, если бы деревья не тянулись голыми ветками к небу, а земля не покраснела от опавшей листвы. Меня переполняла радость, я сварила кофе и предвкушала, как поеду в Фредрикстад, как по окончании семинара буду бродить по улочкам, как мы с собакой – а я собиралась взять ее с собой – заберемся на земляной вал и станем любоваться видом на реку. Я пошла в душ, а когда вышла, то увидела, что Астрид звонила уже несколько раз. Наверное, по поводу статей, которые я помогала ей редактировать.

Ответила она шепотом. «Подожди-ка», – сказала она, а где-то рядом с ней что-то жужжало, словно Астрид находилась в помещении с электроприборами. «Подожди, – по-прежнему шепотом повторила она, – я в больнице». Теперь слышно ее было лучше, жужжание стихло. «Я тут с мамой, – сказала она, – но с ней все в порядке. Опасности нет».

«Передозировка, – сказала она, – мама ночью переборщила с лекарством, но сейчас уже все хорошо, просто она немного устала».

Такое случалось и прежде, но тогда этому событию предшествовала долгая череда трагических событий, поэтому я не удивлялась. Астрид повторила, что все хорошо и что опасности нет, но что пришлось ей нелегко. Мама позвонила ей в пять утра и сказала, что ей плохо: «У меня передозировка». Астрид с мужем были накануне вечером на празднике, только-только вернулись домой и вести машину не могли, Астрид позвонила отцу, тот нашел мать лежащей на полу в кухне и связался с соседом, врачом по профессии. Прибежавший на помощь сосед сомневался, стоит ли вызывать «Скорую», но на всякий случай все же вызвал. «Скорая» отвезла маму в больницу Диаконйемме, где мама сейчас и лежала, – ей ничего не грозило, но она чувствовала себя очень, очень уставшей.

«Почему?» – спросила я, и Астрид забормотала что-то невнятное, но мало-помалу я поняла, что наши семейные дачи на острове Валэр достались двум моим сестрам, Астрид и Осе, а нашему брату Борду об этом не сообщили, и когда он обо всем узнал, то понял, что недвижимость еще и оценена чересчур дешево. «Ему это не понравилось, и он прямо взбесился», – заявила Астрид. Недавно она написала ему – маме исполнялось восемьдесят, отцу – восемьдесят пять, готовилось торжество, и Астрид спросила у Борда, придет ли он с семьей на праздник, но Борд ответил, что не желает ее видеть, что она захапала себе дачу

на Валэре, что этот случай лишь в очередной раз доказывает, как несправедливо на протяжении многих лет распределялись в семье финансы и что справедливости Астрид хочет лишь для самой себя.

Услышав этот тон и выражения, Астрид ужаснулась и показала это сообщение маме, которая тоже встревожилась, приняла чересчур большую дозу лекарства и угодила в больницу, так что в какой-то степени это Борд во всем виноват.

Когда Астрид позвонила ему и рассказала о передозировке, Борд обвинил в случившемся ее. «Он такой равнодушный, – пожаловалась она, – и в войне использует самый нечестный способ. Детей». Дети Борда удалили Астрид и Осу из друзей в Фейсбуке и написали нашим родителям, что им жалко терять дачу. Мама очень испугалась, что дети Борда прекратят с ней общаться.

Я попросила Астрид пожелать маме от меня скорейшего выздоровления. Что мне еще оставалось делать? «Ей это будет приятно», – ответила Астрид.

Удивительно, какие случайности приводят нас к людям, которые впоследствии определяют ход нашей жизни, подталкивают или заставляют делать выбор, меняющий жизненный путь. А может, это вовсе не случайности? Может, мы чувствуем, что эти люди способны подтолкнуть нас к тому пути, которым мы осознанно или бессознательно желаем пойти? Поэтому таких людей мы и не отталкиваем. А кто-то, возможно, готов столкнуть нас с желанной дороги, и от таких людей мы стараемся отдалиться? Удивительно, насколько исход решающего для нас дела может зависеть от некоторых людей лишь потому, что нам вздумалось спросить совета именно у этого человека.

Кофе я так и не выпила – разволновалась, оделась и вышла проветриться на улицу. Мне казалось, что реагирую я чересчур бурно. Я позвонила Сёрену, знавшему нашу семью лучше других моих детей. Его случай с передозировкой, разумеется, удивил, однако с бабушкой такое и прежде бывало, и все всегда заканчивалось хорошо, она успевала вовремя позвонить близким. Когда я дошла до дач и оценки имущества, сын задумался и сказал, что понимает, почему Борд так отреагировал. В отличие от меня, Борд с родителями не порывал и постоянно был рядом, может, не так близко, как Астрид и Оса, но ведь не штрафовать же его за это.

Я позвонила Кларе. Та возмутилась. Заигрывать с самоубийством – это плохо. Отдавать семейные дачи двум из четверых детей, да еще и занижая при этом стоимость имущества, – это никуда не годится.

Конечно, это только родители вправе распределять наследство, но в последние годы они неоднократно заявляли, что имущество распределят среди детей поровну. А теперь получается, что в качестве компенсации за дачи мы с Бордом получим совсем ничтожную сумму. Как я поняла, Борд разозлился из-за этого и еще потому, что никто ему не сказал, что сделка уже состоялась. Мне тоже не сообщили, но я порвала с родными много лет назад. В последние двадцать лет из всех родственников я общалась только с Астрид – моей младшей, но не самой младшей сестрой, да и ей звонила лишь пару раз в год. Так что я здорово удивилась, получив несколько месяцев назад поздравление с днем рождения от моей самой младшей сестры, от которой сто лет не было ни слуху ни духу. Она писала, что и раньше поздравляла меня, но посылала поздравления на неправильный номер. Все встало на свои места. До этого момента против одного Борда было двое сестер – Астрид и Оса, но с моим появлением все могло измениться. Тем не менее я сказала, что наследство меня не интересует. Мои сестры надеялись, что при этом мнении я и останусь, но уверенности у них не было. Я сказала об этом Астрид, когда та уговаривала меня помириться с родителями. Она давила на чувства – по крайней мере, мне так показалось, – расписывала, как им меня не хватает, что они постарели и скоро умрут, почему бы мне не прийти на какой-нибудь семейный праздник или юбилей? Наверняка об этом ее просила мама. Но разговоры о старости и смерти меня не растрогали, наоборот – я рассердилась и расстроилась. Она что, считает мои доводы безосновательными? Я же им все по полочкам разложила. Объяснила, что от матери с отцом меня тошнит, что общаться с ними как ни в чем не бывало – это себя не уважать, у меня не выйдет, я пыталась! Особенно мне стало неприятно уже позже, ночью, когда я писала ей электронное письмо. Я написала, что не желаю больше видеть родителей, что на Бротевейен ноги моей больше не будет, и что, если хотят, пусть лишают меня наследства.

Когда я порвала с ними, мать звонила много раз – мобильных тогда еще не изобрели, и кто звонит, я не знала. Она то плакала, то осыпала меня бранью, у меня аж все тело болело, но выбора не было, если уж я решила выжить и не утонуть, не уйти на дно, придется мне держаться от них подальше. Она допытывалась, почему я не хочу ее видеть, будто сама не знала, и задавала совершенно невыносимый вопрос: почему ты меня ненавидишь, ты, мое любимое дитя? Я ей отвечала бесчисленное количество раз, что вовсе не ненавижу ее, пока и впрямь не начала ненавидеть, я объясняла и объясняла, раз за разом,

словно и не было предыдущих объяснений, я ведь и так чувствовала себя брошенной, неужели меня снова бросят?

Первые два года после разрыва такие звонки выбивали меня из колеи. Мать осыпала меня обвинениями и мольбами, и я совсем терялась. Потом дело сошло на нет, по-моему, она просто махнула рукой – наверное, решила, что предсказуемость и покой лучше, чем вечная нервозность из-за таких разговоров. Лишь Астрид время от времени делала робкие попытки вернуть меня в семью.

В последние годы мать редко со мной общалась. Бывало, заболев, – а это свойственно старикам, – она писала мне сообщение. «Я приболела. Давай поговорим?» Такие сообщения приходили обычно поздно вечером, мать уже была навеселе, я тоже, поэтому я просила позвонить ее следующим утром. Потом я писала Астрид, что о болезнях и лечении я с матерью поговорю, но если она опять начнет обвинять меня, то я брошу трубку. Не знаю, доходили ли мои слова до матери, но на следующее утро она звонила и говорила о болезни и лечении, и, возможно, положив трубку, она, как и я, считала, что разговор получился неплохим. По крайней мере, она перестала изливаться на меня свое разочарование и печаль и теперь, насколько я понимаю, обращалась к Астрид. Наверное, Астрид тоже нелегко бороться с маминым разочарованием и печалью, и, возможно, вовсе не удивительно, что она старалась подтолкнуть меня на путь примирения.

Порвав с родителями, я разочаровала и опечалила их, поэтому была готова к тому, что наследства меня лишат. Если же они, несмотря ни на что, не станут лишать меня наследства, значит, решат, будто выглядит такая позиция недостойно, а им хочется, чтобы их считали людьми достойными.

Впрочем, до этого было еще далеко – и мать, и отец пребывали в добром здравии.

Поэтому, получив три года назад на Рождество письмо от родителей, я удивилась. Мои взрослые дети по обыкновению заходили к ним на «маленький сочельник» – так повелось после нашего разрыва. Я сама на этом настояла: если мать с отцом виделись с внуками, то не трогали меня. Моим детям нравилось

встречаться с двоюродными братьями и сестрами и возвращаться домой с деньгами и подарками. А три года назад они принесли мне письмо. Дети стояли рядом, я вскрыла конверт и зачитала письмо вслух. Там говорилось, что родители составили завещание, по которому четверо детей получают равные доли наследства. Кроме дач на острове Валэр – Астрид и Оса смогут выкупить их по себестоимости ниже рыночной. Они рады, что могут оставить своим детям наследство, писали родители. Мои собственные дети робко заулыбались – они тоже были готовы, что в наследстве им откажут.

Получить такое письмо было удивительно. Неожиданная щедрость, учитывая, сколько горя я, как мне не уставали повторять, принесла родителям. Интересно, какого же ответного шага они от меня ждут? – задавалась вопросом я.

Спустя несколько месяцев после рождественского письма про наследство мне позвонила мама. Я стояла посреди рынка в Сан-Себастьяне в окружении детей и внуков, дело было на Пасху – мы праздновали ее в квартире, которую я там снимала. Что звонит мать, я не знала, ее номера в памяти телефона не было. Ее голос дрожал, как всегда, когда она волновалась. «Борд устроил скандал», – сказала она, но о чем она говорит, я не понимала.

«Борд устроил скандал», – повторила она. Астрид сказала потом то же самое. «Это из-за завещания, – сказала мать, – но Астрид с Осой такие добрые. Такие заботливые. Они долгие годы ездили с нами на дачи, нам там так хорошо было всем вместе, понятно, почему мы оставляем дачи им. Борд вообще туда не заглядывает, ты тоже не ездись. Тебе нужна дача на Валэре?»

От дачи на Валэре, на самом берегу, с видом на море, я бы не отказалась. Если бы только там не пришлось постоянно видеть отца с матерью.

«Нет», – ответила я.

Судя по всему, именно этого ответа мама и ждала. Она сразу успокоилась. И еще потому, что с Бордом я не общалась – иначе сразу поняла бы, о чем она. Я сказала, что дача на Валэре мне не нужна и что считаю завещание очень щедрым, потому что вообще никакого наследства не ждала.

Позже Астрид рассказала, что вокруг этих дач развернулась целая война. Придя как-то раз навестить родителей и узнав, что дачи получают Астрид и Оса, Борд

вскочил и заявил, что одного ребенка родители уже лишились – это он про меня, – а сейчас потеряют и еще одного. И хлопнул дверью. Насколько я могла судить, Астрид считала, будто он обошелся с ними несправедливо. Он уже много лет не бывал на дачах, а раньше, когда он приезжал туда, его жена непременно ругалась с родителями.

То, что мама так быстро успокоилась, меня покорило, но я решила промолчать. «Как же хорошо, – подумала я, – что вся эта дачная заваруха меня не касается».

А сейчас, значит, война набирала обороты. Дачи уже отошли Астрид и Осе, Борд бесился, а мать угодила в больницу с передозировкой.

Клару Танк я увидела впервые в коридоре факультета литературоведения. Она толкала перед собой детскую коляску, в которой сидел сын известного художника. На лекции Клара приходила вместе с этим ребенком, отец которого как раз разводился. Я усердно училась и послушно читала все, что полагается по программе, но на занятия ходила редко – я была беременна вторым, и все мое время отнимала семейная жизнь. Поэтому на литературоведении я видела Клару всего несколько раз, но благодаря коляске всегда узнавала ее. Она заговорила со мной в первый раз на улице Хауссманнс-гате спустя несколько лет, после семинара по литературной критике. Клара работала в редакции литературного журнала, раскритиковавшего одного любимого всеми писателя. Она так отчаянно защищала критиков, топала босыми ногами, махала руками, хотела сказать: «литературный толчок», – оговорилась и вышло «литературный торчок»... А потом Клара засмеялась и никак не могла успокоиться, расплакалась, выскочила за дверь и больше не вернулась. Когда я вышла на улицу, она подскочила ко мне, по-прежнему босая, хотя на дворе был октябрь, расстегнула пуговицу у меня на пальто, ухватилась за мою шелковую блузку и сказала, что блузка у меня красивая. Я развернулась и зашагала прочь – не хотела заразиться чудачеством.

Прогулка получилась более длительная, чем обычно, хотя вечером мне еще предстояла поездка в Фредрикстад. Я свернула в мой благословенный лес, местами все еще зеленый, однако и он не принес мне привычного успокоения. Деревья, поваленные штормами последних недель, лежали с вывороченными черными корнями поперек тропинок. Я позвонила дочерям, но не дозвонилась,

позвонила приятелю, но и он трубку не брал. Мне нестерпимо хотелось рассказать о том, что я узнала, вот только почему? Ведь ничего страшного не случилось, все же обошлось.

Я вспомнила наш предыдущий разговор с Астрид всего несколько дней назад. Последние полгода мы общались больше, чем прежде. Она работала над серией статей, посвященных обучению правам человека, и попросила меня – поскольку я редактор – подумать, каким образом удачнее будет разделить материал на главы. Я читала и делилась с ней своими соображениями, мы обсуждали форму и подачу материала, а в последней беседе – той самой, что состоялась несколько дней назад, – говорили о корректуре и издательствах. Я в тот момент тоже гуляла. Помню, было холодно, а варежки я сняла и поэтому переключала телефон из одной руки в другую. Обсудив книгу, я, по обыкновению, спросила, как дела у всех остальных родственников. «Да Борд все с этими дачами...» – пробормотала Астрид. Я тогда решила, что она о завещании.

Я отправилась в Фредрикстад и успокоилась, лишь въехав в почти пустой центр города. Машину я оставила на парковке неподалеку от пансионата, где остановилась, – я и прежде там жила, – взяла собаку и прошла по валу вдоль реки, медно-красной от закатного солнца. Я пыталась обдумать, что буду говорить на дебатах о современном норвежском драматическом искусстве, которого не существует, но сосредоточиться не получалось. Я опять позвонила Тале и Эббе, те не отвечали, позвонила Ларсу, не дозвонилась, позвонила Бу, но вспомнила, что он в Израиле. Я спрашивала сама себя, почему меня во что бы то ни стало тянет рассказать дочерям, приятелю и Бу про маму, про передозировку и про дачи. Я позвонила старинной подружке – та была за рулем, поэтому с рассказом мне пришлось поторопиться. О передозировках она от меня уже слышала, а вот о наследстве узнала впервые, но опыт у нее имелся. «Это их полное право, – сказала она, – кому хотят, тому и завещают, вот только щедрости после того рождественского письма у них поубавилось». По ее словам, она и сама немало размышляла о наследстве. Ее брат, родительский любимчик, унаследовал семейную дачу, хотя на самом деле дача должна была достаться ей, ведь это ей пришлось терпеть холодность и равнодушие отца и матери.

Я заперла Верного в номере и села на речной паром, следующий в центр города. С парома я снова позвонила Тале и Эббу, но не дозвонилась, тогда я позвонила Кларе и спросила, что же меня так задевает, почему мне непременно надо обсудить это, ведь все обошлось.

«Это сидит очень глубоко, Бергльот, – ответила она, – дико глубоко».

Я сошла с парома и пошла по улице, закапал дождь, я промокла, и идти стало тяжело. Глубина, о которой говорила Клара, – теперь я ее чувствовала, меня тянуло туда, вниз, я тяжелела и тонула.

Дебаты прошли неплохо, я довольно сносно справилась. Потом мы с другими участниками дебатов сидели в кафе и я пересказывала остальным историю с дачами и передозировкой, хотя знакома с присутствующими была лишь шапочно и хотя сама понимала, что напрасно делаю это. Я говорила, и мне было стыдно, смотрела на лица моих собеседников – и мне было стыдно, и на обратном пути тоже было стыдно за то, что я рассказала о дачах и передозировке, так по-детски, срывающимся голосом, совсем как ребенок, глупая девчонка. Мне было стыдно ночью, и я не могла заснуть от стыда за то, что веду себя не по-взрослому, что не в состоянии объяснить все зрело и взвешенно, за то, что я снова превратилась в ребенка.

Спустя день после того, как на улице Хаусманнс-гате Клара расстегнула пуговицу у меня на пальто и ухватилась за мою блузку, она мне позвонила. Звонок застал меня в прихожей дома, где я жила с мужем и детьми, и сначала я никак не могла понять, кто звонит. Она еще раз представилась, до меня дошло, и я испугалась – я была не готова к общению. Клара спросила, не хочу ли я написать рецензию на одну книгу для журнала, где она работает. Мне не хотелось, у меня не хватало смелости, но отказаться мне тоже не хватило смелости. Она спросила, не приду ли я к ней домой на следующее утро, чтобы обсудить все поподробнее, мне не хотелось, но сказать «нет» не хватило смелости. Когда на следующее утро я пришла к ней, Клара собирала книжный стеллаж, и у нее ничего не получалось, в инструкцию она не заглядывала и пила джин. Я была за рулем, пить не могла, поэтому занялась стеллажом. Пока я закручивала шурупы, Клара сказала, что черт с ней, с рецензией, их журнал все

равно на ладан дышит, издательству он не нужен, и чем ей теперь платить за квартиру? Ответа я не знала, боялась заразиться безденежьем. Она влюблена в женатого мужчину – так она сказала, и мое сердце заколотилось. Она беременна от него и на следующий день собирается сделать аборт, а если откажется, тот мужчина навсегда с ней распрощается. Помочь я ничем не могла, мне хотелось домой, хотелось джина, я собрала стеллаж и уехала, видеть Клару я больше не желала.

Воскресенье в Фредрикстаде, в старом городе. Желтые, красные и бурые листья на брусчатке, холодный дождь в воздухе. Наполненная тяжестью, я ходила по улицам. Не надо было мне рассказывать малознакомым людям о дачах и передозировке. Мне хотелось выговориться, но как это сделать, я не знала. Потом я наткнулась на одну из тех, кто сидел со мной в кафе, и она спросила, все ли у меня хорошо, словно сомневалась в этом. Она пригласила меня к себе домой – она жила в желтом деревянном домике в паре сотен метров, угостила кофе с яблочным пирогом, и слезы накрыли меня, а детство выплеснулось наружу, а она приняла мои слезы и спокойно рассказала о своем детстве. Вот только можно ли туда вернуться?

Когда я, стоя в дверях, уже собиралась уходить, она спросила, давно ли я с ним говорила.

«С кем?»

«С твоим братом».

Я не могла припомнить. Лет двадцать назад или даже больше.

«Позвони ему», – сказала она, а я слабо улыбнулась. Она просто не понимает, как на самом деле обстоят дела. Но мы с ней обнялись, будто обмениваясь подарками, и когда я зашагала к калитке, она крикнула:

«Я буду болеть за Борда!»

По пути домой меня раздирали самые противоречивые чувства. Стыд за вчерашние признания в кафе, злость на саму себя за то, что меня так легко вывести из равновесия, благодарность за кофе с пирогом и за то, что в такой день мне повстречался человек, который не оттолкнул меня и у которого нашелся для меня совет. Я спрашивала себя про мать и отца. Астрид и Оса обращались за советом к другим: не надо быть знатоком человеческих душ, чтобы понять, что человек, разозлившийся из-за завещания, разозлится и на то, что дачи были выкуплены тайком по стоимости, значительно ниже рыночной. Консультировались ли они с кем-то? Предупреждали ли их? Или они не желали, чтобы их предупреждали? Решили любой ценой осуществить задуманное?

Домой, в Лиер, я приехала уже затемно. Я гуляла с собакой по полю, шел снег, и я позвонила Тале. Та взяла трубку. Я рассказала о передозировке, о дачах и их стоимости, дочка знает меня и поняла, что я тону. Она сказала, чтобы я не принимала все так близко к сердцу и не лезла в эту историю, что моя мать специально разыгрывает трагедию с собой в роли главной жертвы, хотя на самом деле просто хочет заткнуть рот тем, кто нелестно о ней отзывается.

«Я больше не хочу иметь ничего общего с твоими родственниками, – сказала она, – я в этой пьесе не играю».

Я услышала ее слова, и головой я понимала их смысл.

Я прошла больше обычного, нагоняла на себя усталость, чтобы легче было заснуть, возможно даже, чтобы проспять всю ночь. Я шагала сначала в одну сторону, потом вернулась домой и села перед камином. Позвонила Астрид – сказала, что с мамой все в порядке. Думала, что я переживаю. Мама по-прежнему лежала в больнице, измученная, но на следующий день ее выписывали, так что юбилей они, как и собирались, отпразднуют на этой неделе. И хорошо бы, чтобы Сёрен с Эббой пришли. Я сказала, что они пока не передумали. «Мама обрадуется», – сказала Астрид. Она боялась, что дети Борда не придут.

«Он детьми прикрывается, – повторила она, – хуже не придумаешь, прикрываться детьми! Мама так боится, что дети Борда перестанут с ней общаться. У нее с ними такие хорошие отношения, неужели он все испортит?»

Я осторожно предположила, что, возможно, они расстроились, потому что дачи отошли Астрид и Осе, и таким образом я в первый раз намекнула, что для меня версия Астрид – не непреложная истина. Она помолчала. А потом сказала, что если речь только о сумме взносов, то их можно изменить. «Правда, глуповато получится, – сказала она. – Мы, наверное, действительно заплатили какие-то маленькие взносы, – сказала она, – надо было нам с самого начала заплатить несколько взносов, но мы об этом как-то не подумали».

Я открыла бутылку красного вина. Прикончив ее, я слегка успокоилась и опять вышла с собакой. Снег по-прежнему сыпал, большие, тяжелые снежинки таяли у меня на лице. Вскоре я насквозь промокла. Небо прояснилось, звезды сияли поразительно ярко, а может, это все вино. Я приняла решение и вернулась домой.

В интернете номера Борда я не нашла, поэтому позвонила Астрид. Она сказала, что у нее его номера нет. «Но вы же с ним вчера разговаривали?» – «Это Оса ему звонила», – ответила она. Я попросила ее позвонить Осе, а потом перезвонить мне. «Уже поздно», – заупрямилась было она, а потом все-таки отыскала номер.

Когда я представилась – сказала, что это Бергльот, – он помолчал. А затем сказал, что в последнее время много обо мне думал. Я тоже помолчала. А потом рассказала о разговорах с Астрид, а Борд рассказал о том, как он относится к тому, что случилось. По-моему, голос у него был грустный. Он вспомнил, как я когда-то прислала ему книгу, семейную сагу. Мне казалось, что семья в романе похожа на нашу и детство главных героев тоже похоже на наше.

«Так оно и было», – сказал он.

Я возвращалась домой от Клары, а сердце мое колотилось. Она рассказала, что влюблена в женатого мужчину, потому что знала: я тоже влюблена в женатого мужчину? Разве это заметно по мне? Знает ли кто-нибудь об этом? Я замужем за добрым и достойным человеком, у меня от него трое маленьких детей, и все равно я люблю другого, женатого мужчину, и думаю только о нем. Это

чудовищно, отвратительно, что же мне делать, это невыносимо, я невыносима. У меня нет постоянной работы, нет постоянного заработка, зато есть трое маленьких детей и добрый, порядочный муж, а еще я болезненно влюблена в другого. Ужасно, стыдно, непростительно, как я могу, что со мной не так, если я способна на подобное?

Клара позвонила через неделю. Знай я, что это она, – не сняла бы трубку. Она поинтересовалась, не хочу ли я еще разок к ней заглянуть, она купила новый стеллаж, а собрать его опять не может. Мне не хотелось. Я поехала к ней, собрала стеллаж и рассказала о женатом мужчине. Она сказала, что сразу поняла. Сказала, что замечает подобные вещи, обняла меня и погладила по щеке, а я заплакала. Что мне оставалось делать?

Потом, размышляя, когда я начала обдумывать случившееся, я поняла, что чувствовала – момент истины приближается, вот-вот начнется землетрясение, я чуяла его подобно животным, предчувствующим землетрясения. Я дрожала и боялась болезненной правды, грозившей разорвать, исполосовать меня, возможно, я бессознательно приближала ее, чтобы побыстрее преодолеть, если уж избежать все равно не удастся.

Декабрь и туман до самого неба. Вчерашний снег растаял, на лужайках и дорогах блестела черная грязь, на улице было холодно, а система обогрева вышла из строя, поэтому холодно было и дома.

Мне нужно было отредактировать театральные рецензии и написать введение для следующего номера «На сцене», но ничего этого я не делала. Я приготовила чай, налила его в термос, достала шерстяную одежду, влезла в резиновые сапоги и черную куртку с капюшоном. Главное – одеться потеплее. Я направилась в лес, туда, где в это время года бывало безлюдно, а там уселась на поваленное дерево и спустила собаку с поводка. Порой, весной и летом, мне встречались здесь олени, птицы, белки и лягушки, но сейчас, кроме нас двоих, тут никого не было. Верный пофыркивал, подлезал носом под ветви и коряги, ничего не ведая о наследстве и детстве. Может, мне следует в ироническом ключе написать о «Щелкунчике», «Путешествии к Рождественской звезде» и других милых семейных историях, которые принято смотреть на Рождество? Нет, это глупо, ведь у меня самой от них слезы к горлу подкатывают.

Потом стемнело, мы вернулись домой, я разожгла камин, открыла бутылку красного вина, вытащила заготовки для введения и уже приступила было к работе, когда Борд написал, что рад был со мной поболтать, пусть даже и по такому неприятному поводу. «Может, как-нибудь пообедаем вместе?»

«Спасибо, я тоже была рада. Давай пообедаем», – ответила я.

Как только я отправила сообщение, мне позвонила Астрид – спросила, говорила ли я с Бордом. Я сказала, что встречу с ним на этой неделе. Мне показалось, что ее это встревожило.

Я закрыла лэптоп и начала готовиться ко сну, когда позвонила Клара и сказала, что Рольф Сандберг умер.

Рольф Сандберг. Мамина великая внебрачная любовь. Профессор в педагогическом училище, куда мать поступила уже далеко не в юном возрасте. Мать влюбилась в него по уши, и между ними завязался роман, хотя профессор был женат. Ее страстная любовь к Рольфу Сандбергу просуществовала несколько лет, пока отец не нашел под скатертью на Валэре недописанное любовное письмо от матери профессору. Возможно, ей хотелось, чтобы отец наткнулся на это письмо. Возможно, она ждала, что отец узнает об их романе, возможно, думала, что когда он узнает, то потребует развода, и тогда она выйдет замуж за Рольфа Сандберга. Но отец повел себя вовсе не так, как она надеялась, а как обычно – он разозлился и вышел из себя. И Рольф Сандберг повел себя не так, как надеялась мать: когда она рассказала ему, что отец обнаружил письмо, Сандберг заявил, что один развод лучше двух. Мать набрала таблеток и выпивки и заперлась в комнате, отец вышиб дверь и вызвал «Скорую». Мать отвезли в больницу и откачали.

Мать пыталась жить одна, но у нее не получилось. Отец снял ей квартиру, чтобы она попыталась жить в одиночку, однако спустя полторы недели она вернулась к отцу на Бротевейен. Впрочем, с Рольфом Сандбергом она продолжала видеться и общаться – возможно, она так и не разлюбила его. Мать

рассказывала мне об этом романе. Астрид и Оса ни о чем не знали – иначе они выложили бы все отцу и приняли его сторону. А вот я – и мать это знала – за отца не обижусь и ничего ему не донесу. Я относилась к отцу совсем иначе, не так, как Астрид с Осой.

А потом я порвала с семьей и больше о Рольфе Сандберге не слышала, но не сомневаюсь – мать все эти годы надеялась, что однажды они с ним узаконят отношения. Когда его жена умерла, я подумала, что мать наверняка ждет смерти отца, потому что тогда сможет съехаться с Сандбергом. А потом и Рольф Сандберг умер. Может, мать отравилась, услышав, что он лежит на смертном одре, потому что поняла: мечта погибла?

Было уже за полночь, но я позвонила Астрид и рассказала о смерти Сандберга и что отравилась мать, вероятнее всего, не из-за сообщения, которое ей прислал Борд, а потому что Сандберг умер. Я поняла, что Астрид разволновалась.

Я написала Борду, что Рольф Сандберг умер и что отравилась мать наверняка из-за этого, а не из-за эсэмэски.

Мы с Кларой любили женатых мужчин, которые не собирались разводиться и которым мы были не нужны, которые хотели трахаться с нами в отелях и от которых мы не в силах были избавиться. Мы были несчастливы. Клара жила одна, и в этом имелись определенные недостатки, я жила с мужем и детьми, и в этом тоже были свои недостатки. Я выскочила замуж и родила детей рано, чтобы самой стать матерью, а не дочерью, – я это поняла, когда начала размышлять над ситуацией. Теперь же я предавала мужа и детей и мучилась от стыда. Клара никого не предавала, но с деньгами у нее было плохо, и, чтобы выжить, она ночами подрабатывала официанткой в баре «Ренна». Мой муж неплохо зарабатывал, поэтому мне даже не требовалось брать кредит на учебу. Я была предательницей и обманщицей. Я ездила к Кларе и напивалась с ее друзьями из «Ренны» – психически неуравновешенными и спившимися, одаренными, бедными, потерянными и раздавленными. Удивительные, дрожащие существа, неспособные к выживанию, они то и дело стучались в дверь к Кларе, совсем как я, – и я заразилась потерянностью и бесприютностью. Как же так случилось? Как падение превратилось в движение? Что со мной не

так? Я ездила к Кларе и напивалась в компании удивительных, неприспособленных к жизни людей, ночевала у Клары, просыпаясь по утрам от резкого утреннего солнца, рядом с измученными грязными людьми, спешила домой, обнимала детей и мужа, и мне хотелось навсегда остаться в моем просторном чистом доме. И я обещала себе никогда больше не покидать его, однако вскоре вновь оказывалась у Клары, затянутая в бездну.

Спустя четыре дня после того, как мать отравилась, в тот самый день, когда посвященный Рольфу Сандбергу некролог появился в газете, мать с отцом должны были праздновать юбилей. Узнав, что Сёрен с Эббой поедут на празднование, Тале распереживалась. К чему делать хорошую мину при плохой игре? Зачем смотреть им в рот и участвовать в сплетенной моими родителями интриге, вести себя как ни в чем не бывало и врать? «Вот поэтому мир и рушится, – сказала она, – потому что люди молчат, лгут и притворяются, потому что им так удобнее. Зачем Эбба с Сёреном поехали туда? Решили сыграть в скверном спектакле?» Ее ноги больше не будет на Бротевейен, и она об этом прямо сейчас им и скажет.

Я отговорила ее. Мать с отцом решат, что она тоже охотится за наследством и хочет отхватить дачу на Валэре.

В день торжества мне было беспокойно. Опасности я не видела, но все же... Двери заперты, Сёрен с Эббой уже взрослые и сами разберутся, и тем не менее было беспокойно, как всегда, когда дети ездили на Бротевейен. Я смотрела на часы, словно ждала взрыва. Представляла, как Эбба и Сёрен входят в дом, как обнимают моих родителей, которых я не видела много лет и которых мне теперь трудно было представить. Я представляла, как они обнимают и жмут руку Астрид, ее мужу и их детям, а потом Осе, ее мужу и их детям, представляла лица Сёрена и Эббы, и мне было больно за них, а может, я проецировала эту ситуацию на себя, и мне самой было больно. Я представляла, что они скажут, дежурные фразы и поздравления, ничего о злополучном наследстве, отравлении, некрологе Рольфа Сандберга или о тех, чьи имена нельзя называть, о тех, кого нет рядом, о Борде, обо мне и о детях Борда.

Время текло медленно, я нетерпеливо ждала, сама не зная, чего жду. Я осознавала, что именно хочу услышать – что все прошло хорошо, они вели самые невинные беседы, делились новостями о работе и учебе, и тем не менее я переживала. Как тогда, на маленький сочельник, когда дети ездили на Бротевейен за подарками, я сидела будто на иголках, дожидаясь их возвращения. Мой страх был иррациональным, нематериальным наследием. Иррациональное чувство вины за то, что я отреклась, порвала с ними, совершила поступок, который нельзя совершать, отказалась от своих престарелых родителей, за то, что я, человек, повела себя бесчеловечно. Торжество началось в шесть, стрелка уже подползла к восьми, а они не звонили, и я не хотела звонить в страхе, что они еще не уехали. Сёрен позвонил в половине девятого и сказал, что все прошло хорошо, хотя мама быстро перебрала и хотя отец был очень задумчивым, задумчивее обычного. Борд с детьми не пришел, но, разумеется, были Астрид с Осой и семьями, и Астрид произнесла речь. Они, мол, с Осой рады, что так близки с матерью и отцом, что им нравится находиться рядом, что они видятся очень часто, по несколько раз в неделю, не говоря уж о чудесных летних каникулах на Валэре.

Как заметил Сёрен, – кажется, слегка сконфуженный, – наверное, вовсе не удивительно, что Оса и Астрид унаследовали больше «нас», ведь они столько времени проводят со своими родителями и так их любят.

«Если не знать, что в семье еще двое детей, – сказал он, – то как будто смотришь на обычное счастливое семейство».

Бу Шервена я впервые увидела в воскресенье, на книжном фестивале в Норвежском театре. Там проходили чтения всевозможных книг, изданных той осенью, а в фойе были расставлены стенды литературных журналов, в том числе и нового, под названием «Непостижимые издания». Идея его создания зародилась поздно ночью в квартире у Клары, а инициаторами выступили ее приятели из бара «Ренна». Клара собиралась сидеть на стенде с часу до трех, и я обещала к ней заскочить. Придя в театр, я отыскала Клару под большим зонтиком, воткнутым в цветочный горшок. «Непостижимые издания» – красовалось на зонтике. Кларе, похоже, было не по себе, некоторые авторы вышеупомянутых изданий уже высказались самым нелестным образом, а один детективщик даже грозил ножом. «Писать тексты прикольнее, чем издавать», – сказала Клара. Ей захотелось пива, она отправилась в кафе, а я заняла ее место под зонтиком. Какой-то мужчина направился ко мне, схватил один экземпляр

журнала и, усевшись на лестнице, принялся вслух читать и громко вздыхать. Быстрее бы Клара вернулась. Мужчина вскочил, подошел ближе и сказал, что это он перевел сборник лирики, которая, по мнению журнала «Непостижимые издания», была особенно непостижимой. Я ответила, что не имею к журналу никакого отношения. Этот маленький мужчина в очках посмотрел на меня поверх очков и спросил, имеют ли редакторы «Непостижимых изданий» представление о политической обстановке в России в двадцатых годах XX века. Я ответила, что не знаю и что никакого отношения к «Непостижимым изданиям» не имею, и тогда он спросил, почему я сижу на стенде этого идиотского журнала. Он спросил, знают ли издатели о революционных идеях, популярных в литературных кругах Санкт-Петербурга в двадцатых годах двадцатого века, и я ответила, что понятия не имею, но подозревала, что им вряд ли об этом известно. Тогда этот бледный строгий мужчина спросил, знакомо ли издателям имя эссеиста Ивана Егорьева. Я не знала – я надеялась, что Клара вот-вот вернется. Он спросил, знакомы ли издатели инфантильного журнала «Непостижимые издания» вообще с русской историей и русскими поэтами, известно ли им о традиции, в духе которой создан поэтический сборник «Осенние яблоки». Ответа у меня не было, но я подозревала, что им вряд ли об этом известно. Мне очень, очень хотелось, чтобы Клара поскорее вернулась. Наклонившись ко мне, незнакомец с горячностью заявил, что в строчках, которые придурок рецензент из «Непостижимых изданий» счел особенно непостижимыми, и скрыта суть, эти строки отсылают читателя к речи В. Г. Короленко, произнесенной им на Четвертом съезде коммунистической партии. Маленький человечек теперь уже довольно громко заявил, что, когда рецензируешь поэтический сборник, подобный тому, который он перевел, необходимо изучить соответствующую тему – в этом состоит задача рецензента. Ведь если рецензент относится к лирике несерьезно, то можно ли ожидать иного отношения от всех остальных? Если бы та явно молоденькая и безнадежно заносчивая девчонка, что писала отзыв на «Осенние яблоки», вникла в тему, она могла бы немало почерпнуть из этой лирики. Эти стихи могли бы даже изменить ее жизнь. Он испытующе взгляделся в мое лицо. «Они изменили бы твою жизнь», – сказал он, и эти слова запали мне в душу.

К счастью, он заметил в толпе знакомых, отложил журнал и исчез. Я все высматривала Клару – сидеть у стенда больше не было сил. Но мужчина вдруг вернулся – попросил одолжить ему сотню крон. К нему пришел брат, которому захотелось выпить кофе, а денег у него нет, но признаваться в этом брату он не станет – иначе брат встревожится. Я дала ему сто крон, и он выпросил у меня номер счета. На следующей неделе он перевел мне сто десять крон. Десять крон

он добавил в качестве процентов.

Мы собирались встретиться в ресторане при «Гранд Отеле». Это я предложила. Я так редко куда-то ходила, и это как-то само собой получилось. «Гранд», – написала я. Он ответил, что закажет столик.

По дороге туда я вдруг вспомнила, что именно в «Гранде» мать в былые времена встречалась с подружками, они гуляли по городу и заходили перекусить сэндвичами. Несколько раз мать брала на такие прогулки и меня. Может, я выбрала «Гранд», потому что вспомнила о матери? Я надеялась, что детство не вернется, надеялась, что и я не вернусь в детство, вот почему я дрожала. Я открыла дверь. К входу в ресторан тянулась очередь, дело было перед Рождеством, и вокруг топталось множество принарядившихся стариков. Зря я предложила «Гранд». Вдруг я наткнулась на мать с подружками, вон та женщина в углу – она похожа на мать, по крайней мере, в моей памяти мать выглядела именно так. Я отвернулась, мне хотелось убраться оттуда, но затем я заметила мужчину, похожего на него, – в моей памяти он выглядел именно так, но я видела лишь затылок и спину. «Борд?» – окликнула я, он обернулся и действительно оказался Бордом, постаревшим на двадцать лет. Он узнал меня, постаревшую на двадцать лет, мы обнялись, как и полагается брату с сестрой, которым удалось сохранить хорошие отношения. По крайней мере, нам так казалось. Мимо прошла какая-то его знакомая, они поздоровались и обнялись, и Борд представил меня как самую старшую из своих младших сестреночек – так он выразился. А затем мы замолчали – не могли же мы начать беседу прямо в очереди, мы больше двадцати трех лет не делились друг с другом ничем сокровенным. В последний раз мы с ним виделись на церемонии первого причастия его старшей дочери. По моим прикидкам, было это десять лет назад, и повод был торжественный, и встречались мы в ресторане, кстати, довольно похожем на «Гранд». Кажется, по душам мы беседовали еще в старших классах, впрочем, и это вряд ли. Мы оба порвали с родными, но не одновременно и не сговариваясь, мы отвернулись от них каждый по отдельности. Новости про Борда я узнавала от Астрид, пускай и разговаривала с ней два раза в год. Новостей, как мне казалось, было немного. Дети Борда хорошо учились. А вот о том, что он переехал из дома в Нордстранде в квартиру в Фагерборге, я не знала. Об этом Астрид не говорила, и Борд сам рассказал мне сейчас, в «Гранде», когда я отнесла наши куртки в гардероб и вернулась к столику, который заказал Борд. Он отдал мне свою куртку в знак доверия, потому что когда-то давно мы все – я, Борд и наши сестры – сидели, прижавшись друг к

другу, в машине, на заднем сиденье. Я отнесла наши куртки в гардероб и отыскала Борда в ресторане, он сидел за столиком и выглядел как наш отец – по крайней мере, таким он мне запомнился. «Сейчас отец очень постарел», – заметил Борд. Мы заказали кофе. Когда я спросила, за рулем ли он, Борд ответил, что приехал на трамвае. Это тогда он сказал, что теперь живет не в Нордстранде, а в Фагерборге. Кажется, он удивился, поняв, что я об этом не знала, он ведь восемь лет назад переехал, я же общаюсь с Астрид, странно, что она мне об этом не рассказала. Он пошел к буфету первым, какой-то незнакомой походкой, и вернулся с сэндвичем. Потом я тоже пошла к буфету и принесла сэндвич. Так мы с ним и сидели там, в «Гранде».

Распри о дачах начались намного раньше, чем я думала. Мать с отцом много лет назад решили отдать дачи Астрид и Осе. Сам Борд узнал об этом от своей дочери. Та ходила в гости на Бротевейен, и мать с отцом сообщили, что дачи на Валэре достанутся Астрид и Осе. Дочка Борда растерялась – что она могла на это ответить? Внучка, которая провела все детство на Валэре, она была слишком маленькой и демонстрировать удивление и разочарование посчитала невежливым. Может, они поэтому и сообщили об этом ей, маленькой вежливой девочке, которая не посмела бы возразить, так чтобы они впоследствии имели полное право заявить, что она не сказала ни слова против? Вернувшись домой, дочка Борда передала их слова отцу, Борд отправился на Бротевейен, где мать с отцом подтвердили, что дачи унаследуют Астрид с Осой. Осознавали ли они, что говорят? Понимали ли, как ужасно такое известие для старшего сына, который в детстве проводил на Валэре каждое лето, да и потом приезжал туда вместе с семьей, пока отношения с родителями не испортились? Для старшего сына, который надеялся, что, когда родителей не станет, он вновь сблизится с сестрами? Борд попросил их подумать хорошенько, но родители ответили, что уже все решили. Спустя несколько недель он получил по почте копию завещания, где было написано, что дачи отходят Астрид и Осе, а если те откажутся их наследовать, дачи отойдут тому, кто предложит за них наибольшую цену. Мы с Бордом в качестве наследников не рассматривались.

«Они не хотят, чтобы мы туда приезжали, – сказал он, – мы это заметили, поэтому и бывать там перестали».

Через год Борд написал матери с отцом письмо – он показал мне его, он вообще захватил все документы, – примирительное письмо, где приводил доводы в пользу того, почему дачи следует завещать всем четверым детям. Все четверо

одинаково привязаны к острову, мы сможем поделить расходы на содержание дач, больше народу будет наслаждаться пребыванием там, и к тому же участки большие, поэтому в будущем можно будет построить еще несколько домиков.

Они ответили, что уже все решили.

Борд написал Астрид и Осе, привел все те же доводы, но сестры ответили, что отец с матерью уже решили, что и кому оставить. В последнем мейле о дачах Борд написал, что большинство добрых воспоминаний связаны у него с дачами на Валэре. Почему бы нам не поделить дачи так, чтобы каждым из домов владели двое? «Вряд ли это будет очень сложно», – писал он. У многих его друзей есть дачи, которыми те владеют на пару с братьями или сестрами, и обычно никаких сложностей у них не возникает. «Очень прошу вас – хорошенько обдумайте все еще раз. Однажды вас не станет, и если в собственности у меня и моих детей будет часть дачи, это принесет нам огромную радость». Напоследок Борд писал, что не понимает, почему матери и отцу приятнее видеть на Валэре своих зятьев, а не сына и внуков.

Ответа он не получил. И поделаться ничего не мог. Они имеют полное право так поступить. Вот только осознают ли они, что творят? Понимают ли, что все портят, что убивают без ножа? Осознают ли Астрид и Оса, к каким последствиям это приведет, или и впрямь считают, что отношения с Бордом останутся такими же, как и прежде? Полагали ли мать с отцом, что брат и сестры будут так же близки, как раньше? Они не желали, чтобы Борд и его дети или я с моими детьми владели дачей на Валэре. Борд просил и уговаривал, потому что не знал, что это заговор. Мать с отцом предпочтут проводить отпуск в компании зятьев, а не с сыном и его семьей. Они не хотят видеть нас на Валэре. На праздники и юбилеи – пожалуйста, они с радостью пригласят и Борда с детьми, и меня с моими тоже, но чтобы мы жили все вместе на даче – нет. Им вообще больше хочется видеть Астрид и Осу с мужьями и детьми, и на дачах, и в других местах, потому что рядом с Астрид и Осой прошлое не напоминает о себе так навязчиво.

Мать с отцом и Астрид с Осой решили, что дачи достанутся Астрид и Осе, и приступили к выполнению плана. Они все прекрасно понимали. Борд полагал, будто что-то можно изменить, о чем он и просил, но тщетно. Кто-то был в курсе дела, а некоторые ничего не знали. Пахло от этой затеи дурно, однако и мать с отцом, и Астрид с Осой вели себя так, словно все было отлично, поэтому, наверное, нет ничего странного в том, что Астрид ни словом мне ни о чем не обмолвилась.

Надвигалась катастрофа – они что же, не понимают этого или им наплевать и они думают выйти сухими из воды?

Дача на Валэре Борду не досталась, придется ему с этим смириться, и все же что-то сломалось.

В августе Борд заезжал к отцу с матерью на Бротевейен, просто поведать их, и мать сказала, что отец постарел и что работу на даче он уже не осилит, ни траву косить, ни полоть, поэтому старый дом они отдали Астрид, а новый – Осе. Борд, к тому времени смирившийся с тем, что дачи ему не видать, спросил, сколько Астрид с Осой заплатили. Когда мать озвучила сумму, Борд развернулся и вышел. Эта капля оказалась последней. Сумма была мизерная. Они намеренно взяли с сестер так мало, чтобы и нам с Бордом выплатить компенсацию поменьше. Так было задумано, и Астрид с Осой сочли это справедливым. Каково бы им было, окажись они на нашем месте? У каждой из них по двое детей – значит, с ними они тоже так в свое время обойдутся? Завещают дачи лишь одному из детей? Нет. Это очевидно. Для того, кому дача не достанется, это будет ударом, потому что это означает, что того, кто остался без дачи, родители любят меньше.

Борд развернулся и зашагал прочь. Пусть радуется, что вообще хоть что-то получил, – так крикнула ему вслед мать. Это нам с ним предлагалось радоваться, что мы вообще хоть что-то получили. Завещание, которое нам прислали несколько лет назад на Рождество, то самое, которое Борд попросил ему прислать, можно в любой момент изменить, вероятнее всего, его уже изменили, если оно вообще еще существует, а может стать, никакого завещания больше нет, и тогда, получается, старый дачный дом отдан в подарок Астрид, новый – Осе, ну а мы, Борд и Бергльот, – наши имена созвучны – вообще не получим компенсации.

Я понимала – Борд потрясен несправедливостью, с которой мать с отцом обошлись с нами, и тем, что Астрид и Оса беспрекословно согласились с ними и даже не попытались вразумить родителей, что отныне отношения между братом и сестрами навсегда испорчены. И им наплевать, что Борд чувствует себя обделенным и обиженным, а их, совершенно очевидно, ни капли не заботит его мнение, и вести себя с братом достойно они не считают нужным. Борду и раньше доставались тумачи, и наследство стало для него последней затрещиной. Я поняла, что он готов закончить с ними отношения. Мне тоже доставались

тумаки, а последнюю затрещину я получила пятнадцать лет назад – тогда я и порвала с родителями.

Это произошло тринадцатого марта тысяча девятьсот девяносто девятого года возле киоска «Нарвесен» на улице Богстадвейен.

К тому моменту я уже пару лет старалась свести общение с родственниками к минимуму – ради детей, потому что те были маленькими, и от меня зависело, общаются ли они со своими бабушкой и дедушкой, тетками и дядьями, двоюродными братьями и сестрами. Я поступала так, чтобы мать не давила на меня, не ныла и не взывала к моей совести, но вести себя ровно и спокойно с человеком, утверждающим, будто любит меня, было непросто. Когда я послала ей обычную короткую открытку из Рима, то в ответ получила письмо, где мать писала, как она ждет Рождества, потому что наконец увидит меня и мы сможем провести праздники как обычная семья. Я не в силах была совладать с собой, я выходила из себя, мне казалось, будто меня намеренно не замечают, потому что нормальной семьей мы стать не могли и не были, я объясняла это снова и снова, а они не слушали, не желали слышать. Но отпраздновать Рождество как нормальная семья? При одной мысли об этом меня тошнило, я позвонила родителям, и, когда они не взяли трубку, я оставила хамское сообщение, что Рождество мне вообще не сдалось, что видеть я их не хочу, как подумаю, что придется с ними встречаться, меня сразу охватывает ужас и отвращение, что для меня физически тяжело на них смотреть. Впрочем, на следующее утро мне уже было стыдно за мою злобу, мой гнев, мои чересчур сильные детские эмоции, я позвонила Астрид и попросила ее съездить на Бротевейен и стереть то недоброе сообщение. «Но они его уже прослушали», – ответила Астрид так озабоченно, что я поняла: мать с отцом расстроились, а Астрид считает меня жестокой, потому что я посмела расстроить моих стареньких родителей. Сама себе я тоже казалась жестокой, но еще мне стало неуютно: мне хотелось, чтобы Астрид меня тоже поняла, но этого я от нее так и не добилась.

Когда я в тот же день встретила возле киоска «Нарвесен» Клару и, давась слезами, все ей рассказала, Клара посоветовала мне порвать с ними. «Ты должна порвать с ними».

«Разве так можно?» – всхлипывала я. «Да, – ответила она, – так многие делают». И при мысли о том, что я их больше никогда не увижу, мне тотчас же стало легче. Я перестану учитывать их мнение, прекратятся слезы, обвинения и

угрозы, не надо будет придумывать оправдания, постоянно защищаться и объясняться, чтобы в конце концов все равно остаться непонятой. Разорвать отношения – неужели это возможно? «Да», – сказала Клара. Мне не обязательно ничего им говорить или писать, надо просто решить, и все. И я решила. «Хватит», – подумала я, стоя возле киоска «Нарвесен» на Богстадсвейен.

Мать долго не сдавалась. Астрид тоже не отступала. Но я молчала. А потом они махнули рукой. Шли годы, и изредка, когда события принимали серьезный оборот, Астрид давала о себе знать. Например, когда матери должны были делать операцию. «Маме будут делать операцию. Мне просто кажется, ты должна это знать». Будто это что-то меняло. Будто теперь я непременно должна была им позвонить. Словно болезнь матери, тень смерти изменит мое отношение. Неужели это правда? Видимо, не изменили, потому что про сообщение от Астрид я вообще забыла. Случайно наткнувшись на это сообщение на следующий день, я обрадовалась, что забыла о нем, но радость заставила меня задуматься. Значит, какая-то часть меня боится, что подобные сообщения выведут меня из равновесия? Но этого не произошло, и я обрадовалась. Получается, я преуспела в моем стремлении разрушить память, стереть из нее их обвиняющие, угрожающие и разочарованные голоса, за сорок лет въевшиеся в меня. В ответ я написала, что мне жаль и я надеюсь, операция пройдет успешно, я пожелала матери побыстрее выздороветь. Судя по всему, Астрид решила, что этого недостаточно, но чего она от меня ждала? Что я позвоню? И что мне тогда сказать? Что я отправлюсь в больницу и брошусь матери на шею? Я представила, как еду в больницу, захожу в палату, где лежит мать, и все во мне начинает сопротивляться. Я представляла это вновь и вновь, стараясь прочувствовать, и все во мне сопротивлялось. Нет, это невозможно. У меня не получилось бы с хорошей миной смотреть на ее наверняка изможденное, заплаканное лицо. Я не могла сесть возле ее кровати, взять мать за руку и сказать, что я люблю ее. Потому что это неправда. Когда-то я и впрямь ее любила, когда-то я была невероятно близка к ней и зависима от нее, тогда, кроме нее, моей мамочки, для меня никого не существовало, но это чувство принадлежало прошлому, и возродить его невозможно, потому что все, случившееся потом, действовало с разрушительной силой. Любви больше не осталось, по матери я не тосковала, и это отсутствие любви и тоски по матери казались мне моим собственным своеобразным дефектом, о котором мне необходимо помнить и который надо защищать. Я помнила и защищала, когда Астрид присылала сообщения «по-моему-ты-должна-об-этом-знать». Случалось, я отвечала на них сердито, потому что Астрид обращалась ко мне так, будто это зависит от моего желания, будто я могу вдруг взять и прийти в гости, вести себя

как ни в чем не бывало, и поддерживать разговор. Но сердитые мейлы Астрид удаляла не читая, – об этом она сама писала, когда я на следующее утро пристыженно извинялась за написанное. «Такие злобные мейлы я сразу стираю и не читаю» – так она написала. Это вполне понятно, но от этого я не переставала чувствовать себя брошенной, разочарованной тем, что Астрид не вникла в мои слова. Она никогда не комментировала ни их, ни доводы, которые я приводила, она, похоже, вообще не задумывалась о причинах моей злости. «По-моему, ты должна об этом знать». Чтобы я передумала и позвонила или приехала в больницу. Я не звонила и в больницу не приезжала, лишний раз подтверждая, что я та, кем решила стать, – бесчувственная эгоистка-разрушительница. «По-моему, ты должна об этом знать и помнить о своей жестокости». Мне вновь и вновь навязывали роль злодейки, а я переживала, потому что сил у меня не было! Ноги отказывались нести меня туда! Когда на телефоне высвечивался незнакомый номер, я вздрагивала, потому что это была мать. Я отыскала ее номер и внесла его в память телефона – так я увижу, что это она, и не стану отвечать. Если она заболела, то ей вполне могло прийти в голову позвонить: ведь даже моя жестокость не безгранична и, возможно, я не стану отталкивать умирающую мать?

Мало того – решишь я съездить в больницу, если, конечно, ноги не откажутся меня нести, все, что я скажу там, у больничной койки (если не стану просто хамить и браниться), будет воспринято как сожаление с моей стороны и признание того, что их требования были справедливыми, а мое поведение – недостойным. Так что это было невозможно – как же я поеду туда и отрекусь от самой себя?

Но если мне все же удалось искоренить их голоса из моей памяти и если их голоса больше не имели надо мной власти, почему бы мне тогда не съездить в больницу и не изобразить то, что требуется? Поболтаю немножко с матерью – только и всего. Какое это имеет значение, если мать сама ничего для меня не значит? К чему такая принципиальность по такому незначительному поводу? Почему я не дам матери все, о чем она просит, не отдам родственникам то, чего они хотят, не позволю матери и остальной родне тоже считать, будто я сожалею? Мне только и надо – единственный раз поступиться принципами, и на этом все. К чему столько щепетильности в таком мелком вопросе? В моей жизни было столько всякого другого вранья, так какая разница – одной ложью больше, одной меньше? Почему бы мне не съездить в больницу и не выдать из себя пару добрых слов, а потом не выйти оттуда и сразу забыть об этой дилемме?

Разве передо мной стоит дилемма? Нет! Потому что выбора у меня не было. Потому что все равно ничего бы не получилось. Настолько я была слабой и зависимой.

Тогда, может, съездить в больницу и высказаться честно? Приехать и заявить, что я не отступлю, что ни о чем не жалею, что я пришла попрощаться навсегда? Нет! Невозможно! Вот только почему? Этого я не понимала. Философы, куда вы все подевались? Я пыталась снова принять решение вроде того, что пришло ко мне тогда возле киоска «Нарвесен», когда я решила больше не видеться с родителями и не позволять давить на меня. Но теперь у меня не было внутренней легкости, подобной той, что охватила меня возле «Нарвесена» в тысяча девятьсот девяносто девятом.

Может, это был лишь перерыв? Отсрочка от неотвратимого? Потому что, если перед смертью мать не изъявит желания меня увидеть, Астрид сообщит мне о ее смерти по телефону, и тогда мне придется встретиться с ними на похоронах или перед этим. Ведь тогда отказаться будет нельзя? А они будут унижительно смотреть на меня, ведь я так надолго пропала из их жизни. А мой отец, которого я не видела много лет, которого не узнала бы и который наверняка пережил несколько тяжелых болезней – и только мне об этом неизвестно, – он тоже будет там, раздавленный горем, но утешить его я не смогу и останусь чужой и безучастной. Я сама выбрала такую позицию, хотя никакого выбора у меня не было, а теперь мне надо будет прочувствовать правильность моего выбора. Ведь им тоже будет не по себе? Почему они не оставят меня в покое? Почему они хотят от меня так много? Потому что, как бы им ни было не по себе, мне все равно будет хуже, и им хочется в этом удостовериться? Хочется найти повод увидеть, как мне плохо и одиноко, выплеснуть на меня прежде сдерживаемую злость, потому что я испортила родителям настроение, а исправлять это пришлось им?

Или мои сестры злятся на меня и ненавидят меня, потому что они сознательно или неосознанно хотели поступить так же, как и я, освободиться, вырваться? Может, они завидуют мне, потому что я сбежала от родительского надзора и тем самым усложнила задачу им самим?

Я подумала, что надо эмигрировать в США. Отправиться в кругосветное путешествие, чтобы, когда это произойдет, я находилась где-нибудь в море. Тогда в каком-нибудь порту я открою электронную почту и прочту, что все

закончилось, но море отодвинет наши маленькие жизни и наши маленькие смерти куда-нибудь подальше.

Но, может, я убегаю от возможности дорасти до объяснения? Вдруг скоро что-нибудь решится? Может, так оно и есть – возможно, так и задумано? Что, если я, не выяснив этого, упущу самое важное и ухвачу только очевидное и легкое?

Почему это легкое? – возмутилась я, когда моя жизнь – это сплошь борьба и испытания! Возможно, это еще не конец, говорила я себе, возможно, на этом маршруте остался один поворот и сдаваться сейчас нельзя.

Вновь обнаружив сообщение от Астрид про то, что «я?просто-думаю-ты-должна-об-этом-знать», я всю ночь не спала. Помириться? Простить? Прощать за то, в чем не сознались, невозможно! Они что, думают, у меня хватит сил признаться? Сказать правду о том, что они с таким усердием пытались заглушить и отрицать? Неужто я и впрямь думаю, что они согласятся на всеобщее осуждение ради примирения со мной? Нет, я этого недостойна, что они уже неоднократно мне и демонстрировали. Но, может, они признаются только мне? Если я напишу матери с отцом, попрошу их признаться только мне и пообещаю никому больше не говорить? Нет, и тогда вряд ли, в этом я не сомневалась, потому что для них двоих этой темы не существовало, они об этом не разговаривали, заключили немой пакт, чтобы спасти собственную репутацию, поступили так из своего рода самоуважения, и пакт этот был нерушим, они решили, что стали жертвами предательства со стороны старшей дочери и ее бесчувственности, и пока эта версия была основной, им сочувствовали и сопереживали. Поэтому они ни за что не отказались бы от нее, она подпитывала их, и признай они хоть отчасти что-то иное – даже если, кроме нас, об этом никто не узнал бы, – играть эту роль перед всеми остальными, оставаться теми, кто заслуживает жалости, стало бы труднее. А сейчас жалости заслуживали они. Порой мне тоже бывало их жаль, потому что они навредили себе сами, потому что они были старыми и больными и наверняка их смерть была уже не за горами, я же была здоровой – тьфу-тьфу-тьфу, постучим по дереву. «Ничего, ты тоже когда-нибудь умрешь, – утешила я себя, – и случиться это может хоть завтра», – добавила я, храбрясь. «Чего же они лезут? – глядя в небо, крикнула я. – Чего им от меня надо?» – завопила я в темноту. Но на самом деле они вовсе не лезли ко мне, и на протяжении долгих лет им ничего от меня не надо было.

Спустя два дня Астрид прислала мне эсмэску, что анализы у матери отличные. Она скоро совсем поправится. Ей уже намного лучше. И отцу тоже. Я ответила, что это прекрасно, и попросила ее передать им привет. И зажила своей обычной жизнью.

Через месяц Астрид позвонила. Скоро ей исполнится пятьдесят, и она собиралась устроить большое празднество и пригласить тех, с кем, как ей казалось, я рада буду познакомиться. Она назвала дату, которая меня вполне устраивала. Астрид обрадовалась – она сама так сказала, а потом, помолчав, добавила, что мать с отцом тоже придут. «Им так хочется повеселиться на празднике», – сказала она. «В последний раз» – этих слов она не произнесла, но это подразумевалось.

Она, видимо, думала, будто что-то изменилось. Что, хотя я и не пришла в больницу после маминой операции, я все-таки пожелала матери выздоровления и наверняка понимала, что мама в любой момент может навсегда нас покинуть. И все это заставило меня изменить отношение. «Для нее это вопрос абстрактный, – думала я, – а для меня очень даже конкретный. Вот я войду в помещение, а там они – стоят и пожимают гостям руки. И что, мне их обнять? И что сказать?» Все эти годы они постоянно встречались, привыкли общаться друг с другом, я же выбыла по собственному желанию и превратилась в паршивую овцу. А теперь, значит, мне надо с улыбкой заявиться туда и сказать: «Привет!» – так, что ли? Как будто мы с ними не смотрим на мир совершенно по-разному, и как будто они не отрицают саму плоть, из которой я сделана. Астрид что, не понимает, почему я поступила именно таким образом и насколько глубока моя рана? Она разговаривала со мной так, словно на этот поступок толкнула меня причуда, навязчивая идея, детское чувство противоречия, которым я с легкостью поступаю, как только дело дойдет до чего-то серьезного. Неужели она полагает, будто я смогу «собраться» и заставить себя изменить точку зрения? И не осознает, какой ужас пронизывает мое тело при мысли, что мне придется войти в ее дом, где я не была уже много лет и куда частенько наведываются мать с отцом, и увидеть их – своих родителей? Для Астрид и почти всех остальных они были двумя безобидными слабыми старичками, но для меня же они оставались двумя цепкими существами, и я годами посещала психотерапевта, чтобы высвободиться от их хватки. Может, в этом все дело? Астрид не понимала, как я могу бояться этих сгорбленных, седеющих старичков, я же, приезжая в аэропорт, каждый раз дрожала от страха

случайно на них наткнуться. «Да чего ты боишься-то?» – спрашивала я себя, сидя в экспрессе по пути в аэропорт. Я заставляла себя их представить, смотрела на них – так делают, чтобы побороть фобии. Что произойдет, если я приеду в аэропорт и увижу их в очереди на регистрацию? Остолбенею от ужаса! Так, а потом что? Пройду мимо? Нет, это глупо, по-детски, мне уже за пятьдесят, а я не могу поздороваться с собственными родителями. Я надеялась, что остановлюсь и спрошу, куда они летят. Тогда они ответят и поинтересуются, куда лечу я, я отвечу, натянуто улыбнусь и пожелаю им счастливого пути. Обычные слова, и, возможно, нам удастся вести себя как «обычная семья». Хотя нет! Ведь потом я забуду в туалет, сяду на сиденье унитаза и, дрожа, буду дожидаться, когда они улетят, пусть даже при этом я опоздаю на самолет. Все это совершенно безнадежно. В моих попытках я научилась понимать, что произойти это может в любой момент и что я этого ни при каком раскладе не желаю, не хочу, но это снова меня затягивало. Мне хотелось быть взрослой, спокойной и собранной. Хладнокровно решить, что на пятидесятилетие к Астрид я не пойду, придумать оправдание и забыть обо всем. Но у меня не получалось. Ведь если бы родителей не пригласили, то я всего лишь приду на юбилей к сестре, где познакомлюсь с ее коллегами, наверняка людьми интересными и, возможно, для меня полезными. И в этом засада. Я настолько запугана и забита, что отказываюсь даже от чего-то хорошего. Я завязана на своем дурацком детстве. Описание всей моей сущности: привязанная к детству. Мне перевалило за пятьдесят, а я все еще мучаюсь от страха перед авторитетом родителей. Но ведь у моих сестер и брата этот страх давно исчез? Может, Астрид пригласила нас всех вместе, потому что думала, будто детство меня отпустило, будто старые травмы я проработала и от страха перед родителями избавилась? Может, она думала, что в больницу я отказалась идти по старой привычке, но что пора от таких привычек избавляться? Тогда приглашение можно считать комплиментом со стороны Астрид, полагавшей, что я продвинулась намного дальше, чем на самом деле. Астрид считала, будто я с улыбкой смогу пережить присутствие родителей, будто меня больше не тревожит, как они истолкуют мое собственное присутствие на этом празднике.

Я обещала подумать. Но больше ни о чем не думала. Бесконечно гуляла по безлюдному лесу, представляя, что попала на другой континент, где никто до меня не доберется. «До тебя никто не доберется, – уговаривала я себя, – ты очень далеко. Кто ты? – спрашивала я себя, – кем ты хочешь быть и какой меркой будешь себя мерить?»

«Самой большой?»

Я представила, как тихим субботним вечером, шагая по когда-то знакомым улицам, залитым прозрачным осенним светом, иду на юбилей Астрид. На деревьях висят поспевшие яблоки, над заборчиками свисают потяжелевшие от ягод смородиновые ветки, в воздухе жужжат шмели и пахнет свежескошенной травой. Я с благодарностью вдыхаю этот запах, запах земли и ее богатства. Я спокойно звоню в дверь и вхожу в дом сестры.

Приду ли я когда-нибудь туда? Нет. Мне хотелось бы освободиться, но я не освободилась. Хотелось быть сильной, но я была слабой. Сердце дрожало, и я не знала, как его унять. Я уселась на мох, уткнулась лицом в колени и заплакала.

Это было три года назад.

Мой путь оказался долгим.

Интересно, на каком этапе сейчас Борд, и отличается ли его путь от моего.

Но об этом спрашивать было нельзя, так что в волшебном ресторане «Гранд Отеля» мы сидели молча и отстраненно.

Я рассказала, как много лет назад мы с Кларой, Тале и ее подружками жили на старой даче на Валэре. Тогда я ради своих детей еще не полностью порвала с родителями. Мы включили музыку и танцевали, когда на пороге вдруг появилась мать. Она спросила, мол, я что, угостила их экстази?

Борд засмеялся, я тоже, но тогда, давно, я не смеялась. Моя собственная мать подозревает, что я накормила девочек экстази? От обиды я лишилась дара речи, но Клара поняла происходящее лучше меня – она предложила матери присесть и выпить вина. Клара поняла, что матери хочется посидеть с нами. Мать жила в новом доме и оттуда слышала, как мы веселимся, вот и пришла разделить с нами радость. Она и сама это вряд ли понимала, но хотелось ей именно этого. Клара предложила матери присесть и налила ей вина, и мать пару минут

посидела с нами, а потом поковыляла в темноте обратно в новый дом. Бедная мать. Заточенная наедине с отцом в новом доме, она услышала голоса радости и пошла разделить ее, но сама в себе запуталась и превратила зависть в обвинение: ты что, угостила их экстази?

И я этого не поняла, потому что была в состоянии полной боевой готовности.

Я спросила, ходил ли Борд к Астрид на пятидесятилетие. Нет, не ходил. Его пригласили, но он в тот момент был за границей. Я сказала, что меня тоже пригласили, но я не пошла, потому что туда должны были прийти и мать с отцом. «Я их боюсь», – призналась я и рассказала, что при одной мысли о родителях меня переполняет страх. «Это не страх, – возразил Борд, – это просто очень сильная неприязнь».

«Страх и сильная неприязнь», – поправилась я, и мы улыбнулись друг другу.

Я рассказала, что Тале больше не хочет видеть своих деда с бабкой, потому что не желает участвовать в этом спектакле. Я рассказала, как однажды, в летние выходные, она со своей семьей и друзьями ездила на старую дачу. Мужья вышли на лодке в море, а мать с отцом зашли к Тале поздороваться и спросили, где мужчины. «В море вышли», – ответила Тале, и мать совсем потеряла рассудок – закричала, что на море дождь и волны, а сейчас уже ночь и туман, и вода холодная, и если они упадут в воду, то непременно утонут, возможно, уже утонули. И Тале растерялась и распереживалась, страх матери передался и ей. Отец тоже был в расстроенных чувствах, но по другой причине: гости взяли лодку, не посоветовавшись с ним, владельцем лодки и дачи, и вообще хозяйничали, не проявив к нему должного уважения. Тале молча стояла перед этими взволнованными людьми, владельцами дачи, пустившими ее туда из жалости. Пленница собственного страха, перекинувшегося на всех остальных, того самого, что в свое время перекинулся на меня и заставил меня бояться того же, чего боялась мать – алкоголя и рок-музыки, пленница собственного всепоглощающего страха, мать погнала Тале на причал. Тале стояла на причале рядом с моей матерью и вглядывалась в море. «Сколько же раз я здесь стояла, – сказала мать, – сколько вечеров и ночей я простаивала здесь и молилась, – сказала она, – сколько жизней здесь спасла!»

Передразнивая маму, я театрально подвывала, и Борд смеялся. Такая уж у нас мать. Передразнивая отца, я назидательно бубнила, и Борд смеялся. Такой у нас отец.

Однако Тале уехала домой на день раньше и с того момента реже приезжала на Валэр и заходила на Бротевейен вовсе не поэтому. Она решила уехать раньше, когда тем же вечером, после того как мужчины благополучно вернулись с моря, ее подруга спросила, почему я, ее мама, не общаюсь со своими родителями. Тогда Тале объяснила причину и увидела, как подруга отнеслась к этому. А на следующий день моя мать зашла к ним утром и спросила, хорошо ли Тале заботится о своей дочери. Ночью матери приснился кошмар, что Тале не заботится о дочери: «Мне такой страшный сон приснился! Будто ты совсем не присматриваешь за Эммой! Но ты же за ней присматриваешь?»

Матери снились кошмары о том, что Тале не заботится о собственной дочери, и она бесцеремонно выплеснула свой страх на Тале – у нее не хватило такта, чтобы в одиночестве поразмышлять над своими кошмарами. Так кто же на самом деле не уследил за собственной дочерью? Почему матери снилась некая женщина, не проявлявшая по отношению к дочери должной заботы? У матери не хватило смелости задать этот вопрос себе самой, потому что тогда, ну да, тогда перед ней разверзлась бы бездна.

Мне напомнил об этом Бу Шервен – однажды, когда я рыдала, потому что порвала с отцом и матерью, не желая их видеть, и меня душила вина.

«Они же скоро умрут!» – плакала я.

«Ты тоже умрешь», – сказал он.

Об этом я как-то позабыла.

Когда я вышла из «Гранд Отеля» и зашагала по улице Карл Юхан к метро, на сердце у меня заметно полегчало. Хорошо посмеяться над матерью вместе с кем-то, кто тоже ее знал, подшутить над родственниками с тем, кто знал их. С Астрид мы никогда не подшучивали ни над матерью, ни над семьей. Разговоры

с Астрид вечно меня тяготили, с ней я всегда ощущала себя одинокой.

Я позвонила Кларе и рассказала, как мы с Бордом сидели в «Гранде» и посмеивались над родителями. «Если бы у тебя был выбор, – спросила Клара, – дача на Валэре плюс мать с отцом или ничего – ты бы что выбрала?»

Ничего.

Вечером Борд прислал мне сообщение, в котором писал, что худа без добра не бывает. Обнимаю, брат.

К счастью, мы вновь обрели друг друга.

Декабрь и адвент я провела на даче у Ларса, в лесу, рядом с речкой, частично замерзшей и непривычно молчаливой. Журчание воды едва слышалось, да и то если вслушиваться. Темно, холодно и тихо, а черные деревья грустили о лете, которое у них отняли, тыкали в небо ветвями, просили снега, жаждали укрыться им. Обычно мне там неплохо работалось, вдали от города и людей, и Верный здесь наслаждался свободой.

Декабрьский мрак, по вечерам – снег в воздухе, но утром поляны были зелеными, а солнце светило не по-декабрьски. Зимняя промозглость, внезапные сумерки, красное вино по вечерам, неприятные сны по ночам, низкий утренний туман, а вскоре вдруг солнце начинает светить, как весной, – все это не вязалось друг с другом. Я ходила рассеянная и взвинченная, гора неотредактированных рецензий росла. Мне хотелось написать об опасности излишнего драматизма в популярных романах, но я часами ломала голову, не в силах придумать, с чего начать. Потом я получила мейл от Борда, который, в свою очередь, получил мейл от Осы. Она писала, что они решили пересмотреть сумму взносов за дачи. Те, что родители объявили в прошлый раз, слишком низкие. И что завещатель должен решить, какую сумму он готов вычесть из наследства в счет прижизненных подарков и наследственного аванса, однако прежде, чем делать какие-либо выводы, мать с отцом хотят сначала все же пересмотреть сумму взносов. Если мы придем к согласию относительно того, как все это разрулить, то родители к нам прислушаются.

Решать матери и отцу, но если мы придем к согласию, то – считала Оса – они к нам прислушаются и изменят сумму взносов. Читай – если Борд не согласится, то и взносы останутся прежними.

Час спустя Борд переслал мне мейл, который отправил отцу. Теперь тонул Борд, и я понимала, каково ему. Он напоминал отцу, как тот много раз повторял, что поделит наследство равным образом. Но разве справедливо отдавать двоим из детей дачи на Валэре в качестве наследственного аванса и без оценки их стоимости? И к тому же задолго до того, как двое других – «мы с Бергльот», Борд даже имя мое написал, – вообще получают хоть что-то.

«Я никогда не доставлял вам хлопот, – писал он. Здесь он намекал на меня, это от меня были сплошные хлопоты и головная боль. – Вы говорите, что любите и меня, и моих детей. – Борд продолжал: – Мы слышим то, что вы говорите, но и поступки ваши тоже видим».

Я сидела в лесу и не находила покоя. Представляла, как они, собравшись в доме на Бротевейен, примутся и дальше плести легенду о Борде-скандалисте и жене Борда, интриганке. Считалось, что это она мутит воду и сбивает Борда с толку. Все это я отчетливо себе представляла – я и сама в свое время в этом участвовала, с головой окунувшись в семейные легенды. Лишь когда я порвала с ними, когда отстранилась, я смогла взглянуть на ситуацию под другим углом, да и то не сразу – на это ушло время, я отодвигалась от них крохотными шажками. Родительские слова имеют невероятную силу над тем, как дети понимают действительность, и победить эту силу почти невозможно.

Но я?то освободилась от них? Или они по-прежнему владеют мной, так что изменилась лишь расстановка персонажей в легенде?

Я закрыла лэптоп, оделась, подошла к реке и спустила собаку с поводка. Она не убежала – она оставалась верной. Я пересчитывала камни подо льдом. Весной и летом их не было видно. Я мысленно двигалась вверх по течению, до озера, откуда вытекала река, до ее истоков. Час я прошагала вдоль берега, одна на тропинке, оглядываясь в темноту. Дальше забраться было уже нельзя, разве что за границу уехать. Я вернулась в дом, включила лэптоп и увидела еще один мейл от Борда, теперь это мой брат шел вверх по течению, стараясь отыскать исток. Ему написала Оса – она уверяла, будто родители составили завещание, в котором говорится, что мы с Бордом получим компенсацию за дачи и что сумма взносов пересмотрена. Дальше она отступила несколько строк вниз и добавила,

что, если бы Борд тщательнее выбирал выражения, общаться с ним было бы проще: «От твоих писем мне становится не по себе».

Отвечая, он напомнил ей, что его изначальным желанием было, чтобы мы четверо поделили дачи. Тогда нам было бы где встречаться и куда привозить детей. «Очень грустно, – писал он, – что вам с Астрид такой вариант не нравится». А если от его писем ей становится не по себе, это, видимо, потому, что ей неприятно читать, как они с Астрид ведут себя по отношению к нам. Почему они не желают отдать ему и его детям половину дачи – этого он понять не может.

Приехал Ларс. Мы готовили еду, пили вино, и я рассказывала ему о мейлах от Борда. Мы занимались любовью, потом легли спать, и я рассказала, что Оса написала Борду и что Борд написал Осе. Ларс вздохнул и, готовясь заснуть, повернулся на бок. Ты, кажется, говорила, что дача на Валэре тебе не нужна? – уточнил он. «Не нужна мне никакая дача! – выкрикнула я. – Но я и Борда прекрасно понимаю! Ты что, сам не понимаешь, как он расстроился?» Ларс удивленно посмотрел на меня и вздохнул: «Ясное дело, расстроился».

Интересно, каково это – быть здоровым человеком?

Я не знала, каково это – быть здоровым, не покалеченным психологически человеком, у меня был лишь мой собственный опыт. Просыпаясь по ночам от тревожных снов, я прижималась к Ларсу, обхватывала его правой рукой и пыталась забрать его сны – наверняка спокойные. Я пыталась проникнуть в сознание Ларса, чтобы его безопасные сны просочились в мою голову, пыталась высосать сны из его спящего тела, но у меня не получалось, выхода не было, я была заперта в собственном теле.

На следующий день, чуть за полдень, когда я собиралась написать об опасности превратить роман в театральную постановку, а Ларс пил на веранде кофе и читал газеты, от Борда пришел мейл с приложением. Борд писал, что всю ночь не спал, но на этот раз он, кажется, изложил все, что хотел. «Как приятно, – писал Борд, – все это наконец сформулировать и отправить». Это письмо он назвал последним актом нашей маленькой семейной драмы.

Отцу.

Расскажу тебе, как я повел бы себя, будь у меня сын.

Я постарался бы сблизиться со своим сыном.

Я постарался бы заинтересовать его чем-то, что интересно и мне самому, чтобы у нас были общие занятия, не только когда мой сын был бы маленьким, но и позже.

Я интересовался бы тем, чем занимается мой сын.

Даже если бы его интересы не совпадали с моими, я переборол бы себя ради сына.

Увидев, как мой сын делает успехи в том, чему я научил его, я гордился бы им и радовался за него. И такие же чувства я испытывал бы, видя его достижения на работе и в учебе.

Когда мой сын вырос бы, получил хорошее образование и набрался профессионального опыта, я бы спрашивал его совета в тех случаях, где его опыт превосходил бы мой.

Получи я возможность проводить время вместе с сыном, я был бы счастливейшим отцом и человеком.

И ты, и я знаем, что ты вел себя по отношению к твоему единственному сыну совершенно иначе.

Я сыграл сотни хоккейных и гандбольных матчей. Ты посетил один из них.

Ты никогда не учил меня чему-то, что приносило бы радость нам обоим.

Некоторых из отцов моих друзей я знаю лучше, чем тебя. С отцами Тронда и Хельге я катался на лыжах чаще, чем с тобой.

Я получил образование по трем различным специальностям и сделал очень хорошую карьеру. Однако же ты никогда не говорил и не давал понять, что гордишься мной или рад за меня.

В жизни я неоднократно достигал успехов в различных видах спорта, но мои достижения тебя никогда не интересовали.

Нельзя прожить жизнь заново и исправить уже сделанное.

От тебя как отца я никогда не требовал многого, но сейчас я требую, чтобы при разделе наследства ты отнесся бы ко всем четверым детям справедливо. И ты, и я знаем, что таким отношением ты пока похвастаться не можешь.

Борд

Я прошла на веранду. Накинув пуховик, Ларс сидел на стуле лицом к поляне, лесу и речке. Он не курил и газеты не читал, а просто смотрел на полянку, и лес, и речку, и я подумала, что ему нравится владеть всем этим, обладание наполняет тебя порой странной гордостью, добрым, пускай и не совсем правильным чувством, наверняка знакомым кенийским масаи и гренландским инуитам – наверняка они тоже его испытывают, глядя на землю, которую считают своей, хоть в юридическом смысле она им и не принадлежит. Когда-то давно оно и меня посещало – когда я в молодости приезжала на Валэр, одна или с детьми, в ту пору совсем маленькими, поздней осенью или в марте, в тихие, безлюдные месяцы, когда остальные дачи стояли запертыми, а я смотрела на такие знакомые шхеры, море и скалы, чувствовала себя причастной и ощущала нечто похожее на гордость. Невозможность приезжать на Валэр из-за того, что я порвала с родными, я переживала тяжело, но выбора не было, а по сравнению с тем душевным спокойствием, которое я выиграла, разорвав отношения с родными, дача на Валэре казалась сущим пустяком.

А похлопала Ларса по плечу и спросила, не против ли он, если я кое-что ему прочту. Он поднял взгляд – явно надеялся, что речь не о наследстве. Я села рядом, и в этот момент пошел снег. «Смотри», – сказал он. Хлопья кружились в воздухе – крупные, будто яблочные и черешневые листья, падающие с деревьев в середине июня, – они кружились и не желали опускаться. Мы следили за некоторыми снежинками и провожали их взглядом, пока те не падали на землю и не таяли. «Скоро Рождество», – произнес Ларс. Я посмотрела на часы. Десятое

декабря. Верный гонялся за снежинками. Детство ушло в область ненастоящего. Хоккейные матчи и уроки игры на фортепиано отодвинулись. Память тяготила меня. Я вспомнила, как однажды в третьем классе шла в школу в новом оранжевом платье, которым так ужасно гордилась, что вполне могла быть счастлива, если бы не то самое...

Возможно, как раз сейчас отец читает мейл Борда, Борд отправил его семь минут назад. Я попыталась представить себе отца, но я уже так давно его не видела, а перед компьютером вообще ни разу. Я и понятия не имела, что у него за компьютер и где он стоит – в кабинете? В гостиной? На кухне? Наверное, ужасно отцу получить от сына, единственного сына, первенца, такое письмо. Бедный старый отец, седой, сгорбленный, скорее всего, в очках, вот он вглядывается в экран и кликает по папке с входящими письмами. Отцу от Борда. Меня захлестнула бесконечная жалость к отцу. Пожилому мужчине, не желающему отпускать прошлое, вынужденному всю жизнь тянуть за собой глупости прошлого, и во мне вспыхнуло чувство вины за содеянное, за то, что я бросила этого несчастного старичка.

Потом я напомнила себе, что отец, которого я жалею, – вовсе не настоящий отец, а вымышленный, архетипический, мифологический, мой потерянный отец. Напомнила себе, что моего настоящего отца, каким он мне запомнился, послание Борда не расстроит, напротив, он тут же бросится защищаться, как будто движимый инстинктом. Последними словами, сказанными мне отцом семь лет назад, когда я в последний раз говорила с ним по телефону, было: «Посмотри в зеркало – и увидишь психопатку».

Было солнечное субботнее утро, начало июня. Я сидела на подоконнике в зале, где только что отпраздновали выпускной. Мы с одним парнем из оргкомитета прибрались и открыли по пиву.

Он рассказал мне, что учился в Трондхейме вместе с моей сестрой Осой. Надо же, прикольно, кто бы мог подумать? Он рассказывал всякие смешные истории о тех временах, когда они с Осой учились в Трондхейме, я смеялась, а потом позвонила Осе, с которой уже много лет не общалась, и сказала: «Угадай, с кем я сейчас пиво пью!» И передала трубку парню. Они поболтали, и всем нам было весело, и тогда я позвонила Борду, с которым тоже много лет не общалась, и тоже сказала какую-то ерунду, и Борд засмеялся. Возможно, я все-таки скучала по Борду и Осе – не зря же я, выпив и потеряв бдительность, принялась им

названивать. Я позвонила и Астрид и повторила историю, и все прошло неплохо, хотя Астрид держалась более настороженно. Она знала меня лучше других, помнила, что у меня бывают перепады настроения, и наверняка поняла, что я выпила. Тогда я позвонила родителям – почему бы и нет, если уж пошла такая пьянка? Я действовала, не думая, мне, видимо, казалось, что все пройдет так же хорошо, как и со всеми остальными. Трубку сняла мать, и я как раз собиралась было рассказать о том парне, который учился вместе с Осой, когда мать прошептала – наверное, обращаясь к отцу: «Это Бергльот». И, наверное, она включила громкую связь, но это до меня дошло потом, когда разговор наш закончился так, как закончился. Мать наверняка включила громкую связь – хотела доказать отцу, что она на его стороне и не станет со мной шептаться за его спиной. А может, это он потребовал, чтобы она включила громкую связь. Не дав мне и слова сказать про университетского приятеля Осы, она тут же перешла в наступление и злобно спросила, как я могу вести себя подобным образом по отношению к ней и отцу, откуда во мне эта неблагодарность, ведь они ради меня из сил выбивались, помогали, как могли, за что я обошлась с ними так жестоко? Я оказалась совершенно не готовой к такому повороту. Даже потом, позже, мне не всегда удавалось понять, почему же я была настолько не готова, я что – думала, они тоже будут весело болтать с одноклассником Осы? Наивно, ничего не скажешь. Мне пришлось срочно спускаться с небес на землю. «Когда отец умрет, – проговорила я, – ты прекратишь задавать подобные вопросы. Тогда ты сама ко мне придешь, – так я сказала, – но будет слишком поздно». Трубку взял отец – да, мать наверняка включила громкую связь: «Посмотри в зеркало – и увидишь психопатку!»

Я часто думала, что если отец умрет, то мать захочет наладить со мной отношения, но будет поздно. А сейчас я произнесла это вслух. Значит, уже поздно. Вот такой я стала, такой решила стать, безжалостной. Посмотри в зеркало – и увидишь психопатку! А вот таким стал отец, решил стать или ему казалось, будто другого выхода у него нет, кроме как научиться быть безжалостным. Борду хотелось, чтобы отец испытывал чувства, которые он не в состоянии был испытывать, – так я думала, – и послание Борда он воспримет вовсе не так, как Борд на то надеется. Для отца мейл Борда станет доказательством неблагодарности – это слово отец часто произносил, говоря о нас с Бордом. А мать, Астрид и Оса, увидев этот мейл, только головами покачают. Если, конечно, отец даст им его прочитать. Взрослый мужчина, которому вот-вот стукнет шестьдесят, выговаривает собственному отцу за какие-то пустяки.

Никто, кроме Астрид и Осы, это письмо больше не увидит. Если о нем и упомянут, – чтобы красочнее описать обстановку в семье, – то скажут, мол, Борд, которому уже почти шестьдесят лет, такой инфантильный, что набросился на отца с обвинениями, потому что в детстве отец не желал смотреть, как Борд играет в гандбол.

Это послание для них – как с гуся вода, и Борд это тоже наверняка знает, он и не надеется, что его поймут, ему просто хотелось высказать все напрямую, пока еще не поздно и ради себя самого.

Я прочитала мейл Ларсу вслух. Слушал он внимательно, а когда я умолкла, сказал: «Ой». Ларс и сам был отцом, у него был сын. «Ой», – повторил он. И задумался. Падал снег. «Нам хочется, чтобы наш отец нас замечал, – проговорил Ларс, – в этом все дело». Снег падал, а собака гонялась за снежинками. «Для мальчика нет ничего важнее, – сказал Ларс, – для него главное – чтобы отец его заметил. Поэтому и письмо написал».

Мы немного помолчали. Потом Ларс сказал, что они с отцом тоже были не очень близки. Что слегка отстраняться от собственных детей вообще свойственно отцам того поколения и что тогда все было иначе – это лишь сейчас отцы играют вместе с сыновьями в хоккей и гандбол. Значит, наш отец лишь слегка отстранялся от нас? «Нет, – возразила я, – даже обычные отцы, может, особых чувств к сыновьям и не проявляли, но они гордились, когда сыновья выигрывали парусные и лыжные гонки и хвастались этими победами перед другими отцами, наш же отец вообще ни разу не похвалил Борда, он вообще никогда о нем хорошо не отзывался. Отец боялся. Когда человек никогда не дрожит, значит, у него не хватает смелости, а отец не дрожал. Он ни единым жестом не проявлял собственной слабости – и ему казалось, что похвали он Борда, и это будет расценено как слабость. Вся построенная отцом система держалась на страхе. Прояви он слабость, и все обрушилось бы, вот чего отец боялся. Он мог бы приблизить к себе Борда, но для этого тому надо было бы подлизываться и пресмыкаться, а этого Борд не желал. Отец все мерил деньгами, но ему не нравилось, что Борд разбогател, потому что теперь, когда Борд стал богатым, отец потерял над ним ту власть, которую давали ему деньги».

«Хорошо, что я не богат», – сказал Ларс.

«Разумеется, с годами отец подобрел, – добавила я, – мне так показалось. Но его отношение к Борду не изменилось, отец этого не в силах поменять или не хочет.

Самого худшего он все равно не написал, – сказала я, – Борд тут только симптомы перечисляет. Наверное, самое худшее сформулировать у него не получается, ведь тогда ему вновь придется стать ребенком».

Десятое декабря и снег. Я махнула рукой на работу, и мы молча гуляли по лесу, по притихшему и побелевшему миру. К вечеру, в метель, Ларс уехал, и я снова осталась одна. Надвигалась темнота, и снег валил все сильнее. Я сидела на веранде и курила, хотя вообще-то не курю. Печки там не было, поэтому я потеплее оделась, курила, пила вино и смотрела на падающий снег. Мне надо было браться за работу, редактировать статьи, а я сидела в темноте, курила, пила и смотрела, как за окном растут сугробы.

Когда я чуть за полночь вернулась в дом, то увидела, что звонила мать. Ее номер я все же внесла в память телефона, чтобы, если она позвонит, ненароком не ответить. Мать оставила сообщение. Она просила меня перезвонить. Опять Борд и дачи. Ее голос сбивался, как обычно, когда она хотела разжалобить меня. Как в детстве, когда она заходила ко мне в комнату, садилась на кровать и говорила, как ей больно, больно оттого, что я не послушалась ее. Она выплескивала на меня свою боль, вставала и, выйдя из комнаты, закрывала за собой дверь. Наверное, на сердце у нее становилось легче, а вот мое сердце тяжело колотилось. Когда она бесчисленное количество раз звонила мне поплакаться про свой роман с Рольфом Сандбергом, когда она звонила и угрожала покончить с собой, так что я часами утешала ее и отговаривала от самоубийства, потому что мы же так ее любим и без нее не обойдемся, – каждый раз ее голос дрожал от жалости к себе.

Мать позвонила, потому что думала, будто сейчас я скажу ей то же самое, что и три года назад, вскоре после того, как я на Рождество получила письмо о завещании. Скажу то, что ей хочется услышать, что дача на Валэре мне не нужна и что я считаю завещание очень щедрым, если, конечно, оно со времен того рождественского письма не изменилось. Ведь не исключено, что оно изменилось, да и сама обстановка была другой. Теперь все иначе, не так, как три года назад, когда звонок матери застал меня врасплох в Сан-Себастьяне. Я легла спать, но спала плохо и все думала о мейле, который послал отцу Борд. На следующее утро я написала Борду и спросила, хочет ли он, чтобы я сообщила родственникам, что поддерживаю его точку зрения в ситуации сложившегося конфликта. Ответил он не сразу, но чуть позже написал, что мне либо следует хранить молчание, либо дать им понять, что я тоже чувствую себя

несправедливо обиженной. Я понимала, к чему он клонит. На что намекает. Что я набиваюсь ему в защитники, но не хочу выступить от моего собственного имени.

Но я же не хочу ссориться из-за дач и наследства! Я всегда говорила, что меня это не волнует. Нельзя же сейчас открыть рот и потребовать – это вообще ниже моего достоинства!

Однако я разделяла его чувства и понимала, что значит, когда отец тебя предал, а мать поддерживает отца. Я тоже считала назначенные суммы взносов смехотворно низкими, и была согласна, что Оса и Астрид вели себя самым неподобающим образом. Что же мне теперь, бросить Борда, чтобы тот один играл роль главного злодея, а я буду выглядывать из-за его спины?

Я позвонила Кларе.

Она сказала, что я уже и так чересчур долго не раскачивала лодку, что именно этого и добивались мать с отцом, когда три года назад прислали на Рождество письмо с завещанием – они как раз и рассчитывали, что я буду сидеть тихо. Они в любой момент могут порвать завещание на кусочки или написать новое, пока я молча сижу и восхищаюсь их щедростью.

Я написала Борду, что напишу Астрид и Осе.

«Непостижимые издания» выдержали один номер, после чего отдали богу душу, Клара работала в «Ренне» по ночам, чтобы наскрести денег. Она ходила усталая и измученная оттого, что коллеги и некоторые из посетителей «Ренны» приходят к ней в квартиру выпить, и оттого, что ее женатый любовник обошелся с ней как с поношенными ботинками. Ее женатый любовник наконец ее бросил, и Клара тонула – она погружалась все глубже и глубже. «Мне нужен другой воздух», – задыхалась она.

Я работала над первой полосой, а в голове у меня крутился мейл, который я обещала Борду написать. Закончив поздно вечером с первой полосой, я создала новый файл, и для храбрости налила бокал вина. И внезапно сломя голову бросилась писать – может, меня так это тяготило, а может, я боялась, что начну

задышаться, но перед глазами у меня все плыло, я отправила мейл Борду, хотя время было уже позднее и он наверняка решит, что послание мое чересчур длинное.

Астрид и Осе

Тема: Дачи на Валэре

Я писала, что никакого наследства вообще не ожидала, поэтому приятно удивилась, получив три года назад письмо, в котором говорилось, что наследство будет разделено поровну. Поэтому, когда мать позвонила мне и сообщила, что Борд устроил скандал из-за дач, я ответила ей, что считаю завещание щедрым. «Но сейчас я жалею, – писала я, – что сразу не позвонила Борду. Лишь недавно я узнала, что он еще тогда предложил родителям другое, более справедливое, решение – поделить дачи между нами четверьмя, чтобы все внуки могли туда приезжать. Это предложение безо всяких причин отмели, так что, по-моему, вовсе неудивительно, что Борд обиделся, что дачи были переданы Астрид и Осе тайно, а взносы за них были назначены смехотворно низкие. В отличие от меня, Борд никогда не ссорился с родными, и почему же тогда с ним обошлись иначе, чем с нашими младшими сестрами?

Я написала, что, так как дачи передали сестрам втайне и при таких низких взносах, значит, мы с Бордом при разделении наследства и возмещении стоимости дач тоже получим ничтожно мало? Иначе говоря, двум наследникам достанется больше, а двум другим меньше. Вполне понятно, что кто-то воспринимает подобное как несправедливость и предательство. Особенно мерзко, писала я, что они стараются свалить на Борда вину за мамино отравление и выставить его злодеем, а себя – двумя ангелами, лишь благодаря которым мать и выжила. Рассерженная, я написала, что на самом деле это они несут ответственность за сложившуюся ситуацию, если бы они захотели, то могли бы отговорить родителей от несправедливого решения.

Чуть успокоившись, я налила еще бокал и написала, что в одном из последних разговоров с Астрид та предположила, что Борд завидует ей и Осе. «Нет, мы не завидуем», – написала я, но воспитывали нас совершенно не так, как их, и мать с отцом относились к ним иначе. Обе они получили образование, связанное с правами и законодательством, их обеих учили рассматривать вещи объективно,

поэтому то, что сейчас они отказываются войти в наше с Бордом положение, – это просто в голове не укладывается. И еще я добавила: «То, что никто из вас ни разу не поинтересовался моей версией случившегося, для меня очень грустно». Мне показалось, что упомянуть об этом стоит. В завершение я написала, что мы с Бордом, как в детстве, так и став взрослыми, получали меньше сестер, как материально, так и эмоционально, и то, что сейчас с нами обходятся настолько несправедливо, разочаровало не только нас, но и наших детей, и особенно потому, что Астрид с Осой потворствуют этому.

В довершении я подписалась – всего хорошего, Бергльот.

Ответил Борд тут же – сказал, что письмо вовсе не длинное и что ни о чем нельзя забывать, но он отметил несколько опечаток. «Утром исправлю», – сказала я. Сейчас, поздно вечером, я все равно не собиралась его отправлять, иначе Астрид решит, что это мой обычный ночной мейл. А такие она, по ее собственным словам, удаляет, не читая.

Ей тоже приходится непросто – это я понимала. Астрид превратилась во всеобщую жилетку, а еще она время от времени общается со мной, и поэтому на нее наверняка то ругаются, то давят и просят уговорить меня помириться. Я осознавала, что Астрид была в незавидном положении и что я выплескиваю на нее свой гнев лишь потому, что она единственная из сестер сохранила со мной отношения. Все это я понимала и неоднократно говорила ей, что все понимаю, я извинялась, по утрам я просила прощения, и Астрид благодарила меня за извинения и уверяла, будто стирает мои ночные мейлы, не открывая их. Может, она говорила так, желая меня успокоить? Мои ночные мейлы казались ей ужасными, и ради меня она лгала, будто не читает их? Я отправляла свои злобные мейлы, а проснувшись утром, раскаивалась. Вспомнив написанные ночью слова, я приходила в отчаяние, но в то же время, узнав, что Астрид не воспринимает их всерьез – и неважно, читает она их или нет, – я оскорблялась. Ведь мои пропитанные гневом ночные мейлы были самыми правдивыми, а раскаивалась я лишь потому, что мне вбили в голову: говорить правду наказуемо, сказал правду – жди расплаты.

Клару бросили, Клара тонула, у Клары почти не было денег, ей нужен был другой воздух.

Я училась по специальности «Театроведение» и кредит на учебу брать не стала: я была замужем за обеспеченным, добрым и достойным мужчиной, но при этом мучилась от несчастной любви к женатому университетскому профессору, который, насколько я понимала, разводиться не собирался, хотя и завел со мной интрижку, как заводил интрижки со множеством других женщин. Мне то и дело рассказывали, что мужчина, которого я люблю, встречается с другими, и это ранило меня так, словно он был моим мужем, резало по сердцу ножом, потому что любовь похожа на кардиохирурга[1 - Строки из стихотворения Гуннара Экелёфа «Любовь – это хирург» из «Саги о Фатиме». Издательство «Albert Bonniers Förlag AB», 1966.]. Измены моего женатого любовника были невыносимы, и оставаться замужем за добрым и достойным мужчиной я тоже не могла, я хотела развестись, хотя мать и убеждала меня подумать о детях. Я думала о детях – им было семь, шесть и три, но развестись все равно должна была. Не могла же я лежать в постели рядом с моим добрым мужем, когда я непрестанно вспоминала того, другого, когда мне хотелось лежать в постели с другим, когда я страдала из-за того, что мой женатый любовник изменяет своей жене и нашей любви. Как же так вышло, что со мной не так, как же я умудрилась влюбиться в патологического изменника и разлюбить моего доброго мужа? Как хватало у меня наглости отчитывать и бранить моего доброго, послушного мужа и портить ему жизнь? Так мне казалось – что я жестока и подозреваю его в самом отвратительном, будто по ночам он прокрадывается в комнату нашей старшей дочери, хотя на самом деле он мирно спал перед телевизором. Что со мной творилось – откуда брались у меня эти мысли?

Нет, придется разводиться, другого выхода нет. Я потеряла моего женатого любовника, от которого не в силах была отказаться, и готовилась потерять моего доброго мужа, отказаться от которого была вынуждена, потому что он заслуживал женщины лучше меня. Я подготовилась к этой потере и поехала к Кларе. Та, дрожа, лежала на кровати: она вдруг поняла, что ее отец покончил с собой. Она поняла, что ее отец не утонул, а утопился. Всего несколько букв – а какая громадная разница! Клара побывала на семейном торжестве и, пока приводила в порядок одежду, подслушала, как сестры отца перешептываются. «Если бы только Нильс Уле не утопился». Эти слова пронзили Клару ножом, полоснули по сердцу, по горлу. Все встало на свои места. Все неясности и нестыковки исчезли, ножом в плоть, осколком стекла в глаза, струей ледяной воды в горло. Он утопился. Намеренно вошел в воду и двинулся дальше, в глубину. Ни с какого причала он не падал и пьяным не был. Он был трезвым, вошел в воду трезвым и с твердым намерением умереть. Хотя Кларе было всего семь лет, отец оставил ее ради воды. О чем он думал, когда тонул, бросив позади Клару, зайдя в воду, зная, что никогда больше не увидит дочку? Какое

безграничное отчаяние владело им, но откуда оно взялось, это отчаяние, когда Клара уже существовала, и радовалась жизни, и любила его, и ей исполнилось всего семь?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Строки из стихотворения Гуннара Экелёфа «Любовь – это хирург» из «Саги о Фатиме». Издательство «Albert Bonniers Förlag AB», 1966.

Купить: https://telnovel.com/yort_vigdis/nasledstvo

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)